

## ПРЕДИСЛОВИЕ

От Белостока до Магадана, на Новой Земле и на Сахалине, под Москвой и под Омском, в Сибирской тайге и Среднеазиатских песках, по всей необъятной стране — концлагери. Всему миру уже известные — Свирьлаг, Ухтпечлаг, Нарымлаг, Карагандалаг и многие десятки, сотни других, больших и малых.

Кто назовет точное число заключенных в них — десять, двенадцать, пятнадцать миллионов? А сколько уже в могилах? Сколько погибло от непосильной работы, от голода, от холода? Сколько расстреляно и застрелено? Неисчислимы жертвы, понесенные народом за годы большевистской власти.

В любом правовом государстве, монархическом или республиканском — безразлично, места заключения предназначаются для тех, кто совершает преступления — уголовные или политические. В государстве тоталитарном, коммунистическом в тюрьмы и концлагери кроме врагов режима, выявивших себя в активном действии, заключаются миллионы людей, никаких действий, направленных против существующего строя, не совершавших. Коммунисты-судьи руководствуются не законностью, а интересами рабовладельческого государства. Коммунистический суд, кроме задачи преследования врагов режима и наказания их, имеет и другие задачи, никакими кодексами не узаконенные, вытекающие из самого существа коммунизма: во-первых, терро-

ризовать подвластный народ, во-вторых, поставлять рабов для коммунистических строек.

Книга К. Петруса и является яркой иллюстрацией практики «коммунистического правосудия».

В отличие от правового государства граждане СССР арестовываются и направляются в тюрьмы и в концлагери и без суда, решением органов государственной безопасности.

В то время, о котором рассказывает в своей книге К. Петрус, миллионы арестованных отправлялись в концлагери спецколлегиями ГПУ, а затем, когда ГПУ было преобразовано в НКВД, так называемыми тройками Управления государственной безопасности НКВД.

В эмигрантской антикоммунистической печати за последние 10 лет появилось большое число свидетельств бывших заключенных советских тюрем и концлагерей: статьи, очерки, целые книги.

Одни из них принадлежат талантливым писателям и журналистам — «В стране Зэ-Ка» Ю. Марголина, «Завоеватели белых пятен» М. Розанова, другие — людям, впервые взявшимся за перо.

Ценны все свидетельствования: и глубокий анализ коммунистической системы подавления, который дает, например, Ю. Марголин, и рассказы рядовых людей, составлявших немалый процент узников коммунизма.

Книга К. Петруса это не столько литературное произведение, сколько человеческий документ.

В книге своей К. Петрус рассказывает прежде всего о человеке, рассказывает о тех, с кем вместе шел он по тяжким, тюремно-концлагерным путям, о товарищах по заключению.

Перед читателем проходят русские, украинцы, кавказские горцы; простые рабочие и крестьяне, инженеры и врачи, священники и монахини, подобно первым христианам гибнущие за веру Христову; белый эмигрант,

поверивший в миф перерождения советской власти, возвратившийся на родину, а затем — сосланный «за шпионаж» в концлагери и расстрелянный в ежовщину; немецкие, болгарские, шведские коммунисты, приехавшие в СССР, «отечество всех трудящихся» — и тоже отправленные в концлагери.

Среди заключенных и враги коммунизма и люди лояльные и те, кто считал дело коммунизма своим делом — и тоже попавшие в общую мясорубку.

Встречал К. Петрус на своем пути людей, активно выступавших против режима. Таков, например, крестьянин Иван Бойко, убивший коммуниста, активного участника насильственной коллективизации. Бойко принадлежал к тем, кому не удалось избежать смерти: как правило, все активно выступавшие против режима, например, участники народных восстаний, кого большевикам удавалось захватить, (многие, однако, скрывались), — все захваченные заканчивали свой путь в подвалах ГПУ и НКВД. В концлагери шли либо вовсе невинные, либо протестующие пассивно.

Протест против режима, как свидетельствует Петрус, выражается в самых различных формах.

Вот исповедник веры Христовой Давыдов, смело глядя в глаза энкаведистов-судей, говорит что его постоянное желание — это избавиться от их опеки.

Вот старик-горец Назимов, который на собрании, на вопрос, как ему нравится советская власть, отвечает: «Советская власть — хорошая власть, только очень длинная».

Протест против режима проявляется не только «на воле», но и в самом концлагере: одни отказываются от работы, другие бегут из концлагеря, наконец, ненависть к власти выливается в открытых выступлениях.

В очерке «27 и шесть нулей», инженер Костин говорит своему помощнику:

— Если бы мне попался надежный компаньон, я сорвался бы из этого гиблого места.

Через несколько дней Костин бежит. Почти одновременно с ним с того же лагпункта бежит целая бригада землекопов — 24 человека, бегут несколько человек с соседнего лагпункта.

Труден, почти непреодолим путь из далеких, особенно заполярных, сибирских концлагерей. Тысячи километров девственной тайги, где не ступала нога человека, непроходимые болота, преграждают беглецам дорогу. Продуктов, накопленных ценой ежедневных недоеданий в течение месяцев, хватает только на первые дни пути. Потом питаться приходится грибами, съедобными кореньями. Труден, почти непреодолим путь из концлагерей, но люди всё-таки бегут: тяга к свободе, протест против насилия — сильнее чувства страха и лишений, связанных с побегом.

Рассказывает К. Петрус и о массовых стихийных выступлениях заключенных («Бунт»). Доведенные до последней степени отчаяния, люди решаются на всё. В лагерь прибывает эшелон женщин-заключенных. Помещения для них нет — их буквально набивают в грязные, холодные землянки. На другой день вспыхивает бунт.

«Это была, — пишет К. Петрус, — страшная массовая истерия женщин, доведенных большевизмом до последних степеней отчаяния, это был ураган женского протеста».

— Стреляйте в нас, палачи проклятые, стреляйте, — кричали женщины охране.

В них не решились стрелять, и К. Петрус правильно отмечает, что власть боится массовых выступлений, а когда они происходят, «чекисты начинают беспокойно и лихорадочно метаться».

Рассказывает К. Петрус и о других формах протест-

ста — не стихийных, а организованно-продуманных, жертвенно-сознательных. В лагере — группа монахинь, во главе с православным священником. Они категорически отказываются от работы на власть, которую считают — антихристовой. Их, в конце концов, расстреливают, но не могут сломить, не могут победить в них человека, преодолевшего страх перед властью.

— И вам не страшно так поступать? — спрашивают одну из монахинь — мать Марию. — Ведь вас могут расстрелять.

— Страшно, — отвечает она, — пока не переступили его, этот страх, а как только переступишь и решишься на всё — тогда ничего не страшно!

Несмотря на запрещение лагерного начальства, монахини праздновали Рождество, обходили бараки, поздравляли лагерников, поддерживали упавших духом.

«Голос монахини, бывшей крестьянской девушки, торжественно славил Христа. Еще раз окинула она ликующим взглядом всех жильцов барака:

— Поздравляю всех вас, мучеников Божиих, с великим Праздником Рождества Христова».

Ей ответили словами благодарности. А один из заключенных, тяжело больной, почти умирающий, собрав последние силы, крикнул в исступлении:

— Проклятье палачам!

В бараке наступила тишина.

Он еще раз поднялся со своего места и окрепшим голосом сказал:

— Не бойтесь, товарищи и братья! Это я сказал и я за это отвечу. Проклятье Сталину и его банде!

Книга К. Петруса повествует о том, что видел он сам, что пережил, что пережили вместе с ним и другие узники коммунизма.

В книге его — и сила человеческого духа, жертвен-

ность и подвиг, и падение — покорность палачам, даже предательство. К. Петрус не прикрашивает действительности, не рисует только образы светлые и героические. Он пишет о том, что видел: о слабости и силе человека. Коммунизм ведет борьбу против человека, против души его, но — человека трудно победить. Кажется, уже сломанный, истощенный физически, на грязных нарах концлагеря — он поднимает голову и бросает палачам проклятье.

И автор, а вместе с ним и читатель, верят, что человек победит!

*В. Сызранин*

*О живых, мертвых и воскресших, с которыми пришлось мне встречаться в подвалах, тюрьмах, смертных изоляторах и концлагерях Чека-ГПУ-НКВД в разное время; на Кавказе, Украине, в Сибири, на берегах Ледовитого океана, и по этапам и мытарствам великого концлагеря, именуемого на коммунистическом языке — С.С.С.Р., об узниках коммунизма расскажут страницы этой книги.*

**А В Т О Р**

*По советской дороге  
Мы ходили в тревоге  
И с опаской смотрели вокруг,  
Как бы нас в истребилку,  
На канал или в ссылку  
Не послал бы наш «батько и друг»...  
На сибирском погосте  
Раскулаченных кости  
Засыпает снегами в пургу;  
В Беломорском канале  
Нас водой заливали,  
Смерть ждала нас на каждом шагу.  
А в степях Казахстана  
Рыли мы котлованы —  
Нам мерещилась только вода...  
Нас ветры обжигали  
И пески засыпали —  
Хоронили живых без следа...  
А газеты писали,  
Что мы радостны стали,  
Завтра будет еще веселей...  
А в тюремном подвале  
До костей избивали  
Изнуренных от пыток людей.*



*Ничего не забыли,  
Ничего не простили  
Мы кровавым своим палачам!  
Скоро будет повален  
Вождь преступников Сталин  
И за всё нам ответит он сам!*

Стихотворение неизвестного  
заключенного

## ВХОДЯЩИЙ — НЕ ГРУСТИ, ВЫХОДЯЩИЙ — НЕ РАДУЙСЯ

Небольшая четырехугольная комната, с тремя глухими, темно-желтого цвета стенами и маленькой дверью в комендантский коридор, тускло освещалась электрической лампочкой, висевшей под потолком в проволочном колпаке. Посредине — два топчана, а в углу параша. Воздух был затхлый, насыщенный махорочным дымом, и каким-то кислым запахом. Пол покрылся грязью, окурками, мусором. Очевидно, только несколько часов тому назад здесь кто-то находился и только перед самым моим приездом его куда-то перевели. Может быть, его тоже сняли с поезда и прошлой ночью привезли в этот каменный ящик? Где он теперь? Кто он такой? Может быть, он уже на воле? Может быть его перевели в подвальные камеры и там он ждет смерти?

И понеслись разные мысли, закружились в голове моей, гонимые страхом и тревогой о семье, о друзьях... И вспомнились мне рассказы об пытках в НКВД, о «конвейерных» допросах и «нулевых камерах». О страшных Соловках и многочисленных концлагерях, о выселенных в Сибирь на гибель станицах и погибших от голода миллионах, о бесстрашных исповедниках Христа, беспощадно уничтожаемых красными богоненавистниками.

Кто их знает? Говорят же, что и чекистам не все известно! Сексоты и специнформаторы, явные и тайные бесы, наблюдающие друг за другом, агенты — провока-

торы, ловящие доверчивых и наивных людей своими ловкими «приманками», чтобы потом «раскрыть» их, как «контрреволюционеров»; явочные квартиры и «оперативные точки» для многочисленных сексотов с замысловатыми кличками вроде «два нуля и три четверти» или «Пять дробь нуль пять»...

Выше уже пойдут дьяволы краевых и областных масштабов, засекреченные наблюдатели над деятельностью периферии. А дальше агенты международного масштаба: разведчики и контрразведчики, красавицы-шпионки, имеющие право выходить замуж за иностранных дипломатов. И вся эта грандиозная боевая организация опутала своей сетью не только наш несчастный народ, но и все материки и океаны, и под всевидящим контролем своих высших агентов творит великие злодеяния.

В своей работе ГПУ использовало всё: организационные методы масонов, конспиративные правила революционеров всех стран и народов, многовековой опыт шпионских отделов генеральных штабов, русской охранки, американской контрразведки, Интеллидженс Сервис. И вся эта страшная наука насыщается азиатской жестокостью и принципом — Разделяй и властвуй.

И еще вспомнился мне английский пароход в Феодосии, на котором в 1920 году я готов был эвакуироваться из Крыма, но в последний час оставил его палубу, чтобы пуститься в многолетнее бурное плавание по мятежному морю советской жизни.

И когда другие, перекрашиваясь в красный цвет, присасывались к большевистскому пирогу, я оставался в стороне, в надежде на крушение коммунистической тирании и в непрерывных скитаниях и нищенском прозябании расходывал свои молодые годы. Жизнь наша озарялась Евангельскими истинами, а силу для борьбы с воинствующим безбожием черпали в мудрости древних.

Хватит ли у меня сил теперь стойко и до конца

вынести все эти испытания, не отречься от своих убеждений, если придется из-за них попасть в «нулевую» камеру и вынести тяжкие инквизиторские пытки?

«Ах, почему я не уехал на этом пароходе?» — затрепетало в душе моей позднее сожаление.

Я очнулся от тяжелых дум и воспоминаний и вдруг страшное беспомощное одиночество охватило меня и стало сжимать темно-желтыми квадратами камеры.

А прямо со стены глядели на меня кем-то вырезанные на штукатурке слова:

«Входящий — не грусти, выходящий — не радуйся»!

## ПАНАИДИ И КАМЕРА № 7

На рассвете следующего дня в коридоре поднялась какая-то возня, слышались сдержанные голоса и чьи-то твердые шаги стали приближаться к моей камере. Завизжало железо замков и загремели засовы, двери вздрогнули и отворились. Я приподнялся с койки и увидел маленького человечка, лет 30, с чемоданом в руках. Вошедший в камеру имел небритое и очень измученное лицо, распухшие и красные от бессонницы и электрического света блуждающие глаза. На нем была поношенная суконная пара, рваные ботинки и помятая кепка. Он бросил в угол камеры раскрывшийся пустой чемодан и, поздоровавшись, сел рядом со мной на койке и простуженным голосом стал рассказывать о себе.

— Извините, я не ожидал, что найду здесь живого человека. Мне будет очень приятно познакомиться с вами, товарищем по несчастью, — заговорил он со мной, оглядывая камеру и мою постель, состоящую из шубы и саквояжа. — Вывеска у меня греческая, а имя русское: Панаиди, Владимир Иванович. И вот, благодаря тому, что мой греческий отец женился на моей русской матери, в настоящее время ГПУ имеет на своем бесплатном иждивении лишнего едока. Когда же умерли мои старики, я присосался к дядюшкиной деньге и жил у него в станице А-й до этого самого идиотского раскулачивания. А когда дядюшка мой в 1929 году благоразумно отошел в вечность, я занялся заграничными поездками.

Заметив, что я с любопытством начал его слушать, он еще оживленнее и цветистее продолжал свой рассказ, часто прерывая его кашлем.

— Собственно говоря, я не ездил за границу, а меня возили греческие матросы в угле и прочих белых веществах. Вы только не удивляйтесь, что я черное называю белым... Ничего не поделаешь: сказывается влияние советской идеологии. Да. Так вот, за это я платил им чистой валютой, а матросики мне, — полной безопасностью и проездом в Константинополь и обратно. Контрабанда вещь хорошая, со всякого рода приключениями и опасностями... Она, как и богатство, подобна морской воде: чем больше ее будешь пить, тем сильнее будет томить жажда и тем скорее погибнешь. И вот, когда нужно было остановиться и больше не ездить в этот проклятый «рай», я еще раз захотел побывать на родной Кубани. Роковая случайность столкнула меня с агентами ГПУ и я попал в их лапы. А теперь, как видите, они хотят превратить меня, кавказского полугрека, в турецкого шпиона. Но это им не удастся!

Вдруг он немного привстал с койки, захлопал в ладоши, и, вытянув шею вперед, а голову назад, во всё горло закричал:

— Ку-ка-ре-ку-у-у-у-у!

За дверью слышались быстро приближающиеся шаги, затем сильный стук в двери и грозный окрик вахтера:

— Что там такое? Смотрите мне, а то переведу в карцер!

— Без тебя, орел, знаем! — возбужденно сверкая красными глазами, ответил в дверь Панаиди и снова присел возле меня.

Еще с большим любопытством я стал его рассматривать. Он, очевидно, заметил на моем лице выражение

некоторого сомнения относительно его нормального состояния и стал меня успокаивать.

— Извините меня, товарищ или гражданин, что я вас немного напугал! Прошу вас, не удивляйтесь моему несчастью. Это стало находить на меня после конвейерного допроса.

Он низко опустил голову и, закрыв лицо ладонями, как-то надрывно застонал и потом совершенно спокойно продолжал рассказывать.

— Восемь лубяnskих следователей не ниже «ромба» в течение 36 часов допрашивали меня. Одни уходили, приходили другие, а «конвейер» всё тянулся... Они хотели, чтобы я пришел в «сознание», а я дальше своей контрабанды не двигался. Да еще, стервецы, — и он нехорошо выругался, — перед допросом накачали меня хорошей шамовкой с чудными папиросами, чтобы, так сказать, предрасположить меня к излиянию и откровенности. Допрашивали меня очень вежливо и спокойно. Но когда в последний раз один из «ромбов» задал мне вопрос, я отказался им отвечать. И вот, в этот самый момент мне и показалось, что я окружен красными петухами, которые собираются заклевать меня. Я им кукарекал — они и разошлись, а последний потащил меня к их гепеушному психиатру. Так вот с тех пор и повторяется...

Он наклонился ко мне, замигал блуждающими глазами и продолжал:

— Петухи мне уже более не показываются, а кукареканье осталось. Психиатр — еврей долго возился со мной, а затем вдруг предложил мне сосчитать до 27. А потом спрашивает, какое сегодня число. Словом, проверял мою нормальность. Я и сам сознаю, что произошел какой-то сдвиг в моем мозгу, но не могу удержаться. Психиатр этого самого «петуха», который через меня кукарекает, как-то назвал по-латыни. Так вот, и напра-

вили меня из Москвы обратно сюда. Целый месяц продержали меня в подвальном третьем этаже ниже горизонта. Чистота замечательная, прогулки на крыше, т. е. на бетонной площадке, которая обнесена стенами, и в то же время служит крышей. Кормили тоже хорошо.

Панаиди остановился, несколько раз кашлянул и снова заговорил, мигая глазами и вздыхая:

— Ну, а теперь вы мне расскажите, если не секрет, за какие грехи вы попали на бесплатные харчи ГПУ?

В коротких словах я рассказал ему о предполагаемой мною причине ареста и приключениях в дороге.

Он вспыхнул, глубоко вздохнул и, как бы что-то вспоминая, сказал мне:

— О, вы страдаете за идею! И я когда-то при НЭП'е посещал собрания баптистов. Очень мне нравилось их учение: не пьют, не курят, не сквернословят, живут по правде, отрицают войну. Очень хорошие люди они. Хоть вы и не баптист, но, по-моему, всё равно, так как учение Христа одно... Вам легко будет нести крест свой. А вот мы — народ отпетый! Как подумаешь только, зачем вся эта жизненная канитель с этими проклятыми курортами ГПУ, то становится хуже, чем после «конвейера». Еще в Москве, в одиночке, я до того додумался, что стало жутко. В самом деле, если ничего нет, ни до нашего рождения, ни после нашей смерти, а посередине между этими черными безднами протянулся небольшой перешеек со всеми этими пятилетками, нашей нищенской житухой, то разве не станет жутко. Я даже закукарекал?!

Он всё продолжал говорить, изредка покашливая и поглядывая на меня.

— Да, религия большая сила, свет жизни, смысл бытия! До рождения — жизнь, после смерти — жизнь, а эти разные пятилетки и ГПУ — это вроде ссылки или сновидения — не могу я ясно выразить свою мысль, но



вы меня должны понять. Пять раз я побывал за границей и всякий раз собирался посетить Палестину, чтобы, так сказать, у самых истоков Христианской религии напиться этой бессмертной влаги...

Он снова остановился, глубоко вздохнул и более тихим голосом продолжал:

— Я хочу вам сообщить, что на днях должны меня освободить, т. е. перевести в тюрьму, а там на волю. Поэтому, если пожелаете, я смогу передать вашей семье ваши пожелания и просьбы. Если же меня задержат, то сделают другие: в тюрьме бражка своя!

Он приподнялся с койки, подошел к стене и стал читать видневшиеся на ней надписи.

После некоторого колебания я ответил, что имею к нему единственную просьбу, через его посредство передать семье моей о случившемся со мною.

Он с радостью записал мой домашний адрес на маленьком клочке газетной бумаги и запихнул его в свою кепку.

— Наша святая обязанность помогать друг другу. Вот, смотрите, — указывая на надписи, сказал он, — сколько в этих немногих словах заключено страданий, ужасов и проклятий всей этой банде узурпаторов?!

Мне показалось, что это провокация. Я прервал его и сказал:

— Нехорошо, Панаиди, ругаться. Этим вы никому не поможете, а себе повредите.

Он взглянул на меня, замолчал и снова начал кашлять. Потом неожиданно сказал:

— Не бойтесь меня. В нашей стране свобода слова возможна только в тюрьмах, да в... уборных, если и в этих местах за вами не наблюдают сексоты. Наряду с похабщиной, в куче навоза, можно найти замечательные крупы народной мудрости.

Он начал вслух перечитывать все надписи.

— Да, это сильно сказано: «Входящий — не грусти, выходящий — не радуйся!». Очевидно, это изречение кто-то написал, побывавши кое-где. А вот еще есть и такие, каких вы, наверное, не слышали: «Кто не был, тот будет, а кто был, тот вовек не забудет».

В это время вахтер открыл дверь и, обращаясь ко мне, грубо скомандовал:

— А ну, высокий, давай выходи к парикмахеру!

Какой-то «кавказский человек» бесцеремонно схватил меня, посадил на табурет и машинкой стал снимать мои волосы. Через несколько минут он добродушно похлопал меня по затылку и, поглядывая на вахтера, возгласил:

— К труду и абарона гатов!

В камере Панаиди встретил меня восклицанием:

— О, не на два дня вас подцепили, а на многие годы. Законопатят вас основательно и безоглядно!

А через некоторое время, когда вахтер снова пришел за мной, Панаиди пожимал мне руку и тихо напутствовал:

— Просьбу вашу выполню. Берегитесь сексотов и «наседок». Имейте в виду, что они есть в каждой камере. Желаю вам счастливо выбраться. Прощайте!

Как потом выяснилось, просьба моя выполнена не была, а личность этого странного человека так и осталась для меня загадкой.

Было зимнее морозное утро. Дул сильный ветер. Сквозь обмерзшие окна в комендантский коридор пробивались первые лучи восходящего солнца.

Вахтер открыл тяжелую железную решётчатую дверь, ввел меня в полутемный подвал и стал открывать камеру № 7.

«Ну, теперь-то и начинается эта самая «конопатка», — подумал я словами Панаиди и нерешительно вошел в камеру.

---

Большое подвальное помещение с маленькими щелями, вместо окон, слабо освещалось дневным светом, было заполнено облаком сизого махорочного дыма. На семи топчанах, прикрытых истрепавшимися сенниками, сидели и лежали люди, непрерывно дымя цыгарками. Приглушенными голосами они о чем-то говорили, перебывая друг друга и непрерывно ругаясь. Когда закрылись за мною двери и я, поздоровавшись с ними, сел на указанный мне вахтером свободный восьмой топчан, все сразу замолчали и стали задавать мне обычные вопросы, кто я такой, откуда я, за что меня арестовали и т. п. Выслушав мои ответы и короткий рассказ о приключениях с Панаиди, один из них, очевидно, хорошо знавший уголовный кодекс РСФСР, приподнялся на локте и проговорил:

— У вас, гражданин, судя по всему, дело не безнадежное. Срок вам уже приготовлен: от 6 месяцев до вечного пребывания. А этим «петухом», который вам кукарекал в предварилровке, ГПУ хотело вас немного развеселить. О подробностях же узнаете у своего следователя... А пока, авансиком одолжите табачку.

Я ответил, что не курю. Говоривший выругался, махнул рукой и добавил:

— Я тоже когда-то не курил, но когда жизнь дала трещину, пришлось поддерживать себя курением. Через недельку-другую, гражданин, когда ГПУ крепко наступит вам на хвост, вы станете первым курильщиком. Без курева в тюрьме невозможно быть. За табак у нас отдают «пайку», костюмы шевиотовые, сапоги, всё —

до совести и невинности включительно, если вы не потеряли их еще на «воле».

Камера засмеялась.

С новыми моими товарищами по камере я познакомился очень скоро. Одессит попал за налет на хлебный ларек; краснодарец за какую-то небольшую растрату; бывший красный партизан — за какое-то дело с поджогом кирпичного завода; два немца-колониста — за связь с заграницей и получение от общества «Братья в нужде» денежной помощи; бывший красноармеец — за еврейские анекдоты и последний — местный юноша — за антисоветские разговоры. За исключением первых двух уголовников, остальные были «контрики» и с предъявленными им обвинениями по 58 статье сидели уже по несколько недель. Они очень охотно делились со мной своими переживаниями и негодовали на тех, кто их «продал». Особенно волновался бывший красноармеец из местного гарнизона.

— Подумайте, — возмущался он, — за какой-нибудь пустяковый анекдот и мне грозит трехлетний «штемпель», — а?! Всё равно, я буду на них жаловаться товарищам Ворошилову и Калинин. За такой подход к бывшему комсомольцу-батраку и красноармейцу им попадет.

— Ты лучше расскажи нашему новому товарищу анекдот, — вмешался одессит и засмеялся.

— Да, что же тут рассказывать, когда этот анекдот все колхозные бабы знают, — продолжая волноваться, говорил бывший красноармеец. Никакой политики в нем нет, а сексоты донесли политкомиссару и меня арестовали, — поспешил вставить бывший красноармеец.

— Ничего, ничего, товарищ красноармеец, и вам надо немножечко попилить сосенки да елочки, да с тачечкой покататься, — заговорил снова одессит. — Пятилетку-то надо кому-нибудь выполнять. Портфели носить

и всякие говорильни разводить — одно, а каналы рыть — другое.

Красноармеец махнул головой и решительно выкрикнул:

— Всё равно, я буду жаловаться в Москву и своего добьюсь!

— Чудак ты, Божий человек: ты не первый и ты не последний. Тебе вбили в мозги, что на местах власть, может быть, и плохая, а вот, в Москве, — там настоящая, справедливая... Одинакова она везде. Сотни тысяч людей сидят за анекдоты, Москва об этом знает. И если бы твой Калинин их поосвободил, кто же тогда будет строить социализм?!

Вспоминая предупреждение Панаиди, я обвел всех взглядом и подумал: «Кто же из этих семи человек шпион?».

Трудно было сразу разобраться и я решил осторожно перевести разговор на другую тему.

— Ну, как же вас здесь кормят? — обратился я сразу ко всем.

— 600 грамм хлеба, ложка сахару, баланда на обед, кипяток на закуску, а остальной приварок будет выдан в конце пятой пятилетки, — снова сострил одесит и камера снова засмеялась.

---

Остальные часы этого дня ходили в закрытый двор на прогулку, обедали, спали, играли в шашки и шахматы, изготовленные из хлеба, затем пили вечерний чай и готовились к ночи. Каждый из арестованных ожидал вызова к следователю и к этому готовился.

Я тоже ожидал вызова и готовился к возможным неожиданностям и вопросам...

В 10 часов вечера повели меня к следователю. И замелькали в глазах моих красное лицо конвоира, его наган, направленный на меня, темные коридоры, широкая лестница на третий этаж, яркий свет в каком-то зале и закрытая дверь в кабинет следователя.

— Стучи! — приказал конвоир.

Стучу.

— Да-да! — слышится металлический голос из кабинета.

Открываю дверь и...

Но об этом когда-нибудь в другой раз расскажем. Сейчас буду рассказывать о других. Моих союзниках и товарищах по заключению.

## ТОВАРИЩИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ

В тюремном подвале районного ГПУ было около 10 камер. Одна половина с небольшими окнами выходила на улицу, а другая — в глухой квадратный дворик, в котором арестованные, по замкнутому кругу, производили свои 10-минутные прогулки. Как с улицы, так и со двора окна были огорожены высокой досчатой стеной, вдоль которой ходил часовой. По ночам можно было слышать его глухие шаги и крики:

— Эй, гражданин, перейдите на другую сторону!

Все побывавшие в заключении по опыту знают, с каким жгучим любопытством хочется знать, кто же томится рядом с вами в соседних камерах и за что он туда попал. Это желание общения с живыми людьми, с соузниками, настолько сильно, в особенности в одиночном заключении, что арестованные, изолированные от внешнего мира, пускаются на всякие хитрости, на изобретение всевозможных условных знаков и азбук, с помощью которых можно было бы установить контакт с соседними камерами. Даже строгие наказания за это карцером, лишением прогулок или связи с родными не могут удержать заключенных от этих попыток.

Проходя много раз по коридору, я видел темные прямоугольники дверей, из-за которых чуть слышно доносился глухой сдержанный гул голосов. Страшно хотелось, хотя бы через «волчок» взглянуть в эти камеры и сказать находившимся в них несколько ласковых утешительных слов.

Особенно мне хотелось повидаться или хотя бы поговорить через стену с моими однодельцами.

По ходу следствия я видел, что были арестованы некоторые из моих друзей и знакомых и, сбиваемые с толку следователем, они начинали уже оговаривать и меня и друг друга. С ними-то и нужно было как-нибудь связаться. Но как это сделать? Тюремной азбуки для перестукивания они не знали, а через «волю» связаться с ними не было никакой возможности. Оставались еще дежурные вахтеры, но им не доверяли и связываться с ними было опасно.

И вот однажды наш однокамерник, бывший красный партизан, стоя у окна, стал машинально выстукивать по трубе парового отопления. Через несколько минут в трубе слышались ответные металлические щелчки в определенном порядке. По трубе ответили такими же ударами. Получили ответ: «Говорит 4-я камера». С того же дня наши камеры установили связь со всеми соседними камерами, выходящими окнами на улицу. Связался и я с 3-мя моими однодельцами и обменялся с ними необходимыми для нас сведениями. Особенно было важно им знать действительную роль двух наших общих знакомых, оказавшихся агентами ГПУ; они являлись для нас очень опасными свидетелями.

Но не долго продолжалось наше общение с соседями. Дежурившие вахтеры подслушали наши разговоры, донесли начальству и перестукивания, под страхом строгой кары, были прекращены. Но главное было сделано. Мы не только знали, кто рядом с нами находился, но и сделали взаимные предостережения.

Другая же часть камер, выходящая окнами в прогулочный дворик, находилась на другой стороне коридора, и связей с ней у нас никаких не было. В этих камерах находились остальные 4 мои однодельца, а также, как потом уже выяснилось в тюрьме, другие более или менее интересные личности.



Вот, например, генерального штаба царской армии подполковник Малиновский, сотрудничавший в ГПУ, а затем обвиненный им в организации каких-то контрреволюционных восстаний среди кубанского казачества. В ответ на эти обвинения Малиновский объявил голодовку, был переведен в одиночку и на 32 день умер от истощения.

Вот какая-то неизвестная молодая девица, находившаяся в одной из больших камер, пробовала покончить жизнь самоубийством, но своевременно была вынута из петли и в бессознательном состоянии отвезена в тюремную больницу.

А вот укротитель и дрессировщик змей. Фамилии его никто не помнил, но в его горе все однокамерники принимали большое участие.

По рассказам заключенных, где-то на одном из своих гастрольных выступлений укротитель показал зрителям на змеях, как крестьяне вступали в колхоз. По его приказанию, змеи исполняли что-то антисоветское, за что он и был арестован ГПУ. Змеи его сидели где-то в каком-то закрытом ящике без пищи и воды. Укротителя их это очень волновало и он, быстро шагая по диагонали своей камеры, возмущался:

— Ну, уж пусть я контрреволюционер! Но при чем тут невинные змеи мои? Без еды они еще посидят пару месяцев, но без воды передохнут через неделю. Возмутительно!

Кто-то ему сказал:

— Змеям твоим тоже предъявят 58 статью, да еще, кроме 10, воткнут им 11 пункт за группировку. И поедешь с ними на гастроли по концлагерям!

Дальнейшая судьба этого человека и его змей мне неизвестна.

Спустя три месяца, уже в городской тюрьме, я познакомился с группой немцев-колонистов, переведен-

ных из НКВД. К ним присоединили двух немцев, моих однокамерников, и все вместе ожидали суда.

Позже, где-то в лагерях, я узнал, что спецколлегия присудила им сроки заключения по количеству полученных от германского о-ва «Братья в нужде» марок. За две марки — два года, за три — три и т. п. А один из них, местный учитель, за 10 марок и 3 доллара получил десять лет и 3 года поражения в правах.

Над ними подшучивали:

— Дороговато обошлись эти марки! Даже на махру не хватит, если придется вам отбывать эти сроки...

Колонисты вели себя осторожно и замкнуто. Учитель же, упражнявшийся в английском языке, был оживленнее и общительнее и потихоньку мечтал об Америке, где проживали его родственники.

В этих камерах побывали и два итальянца. Одного из них в тюрьме называли Корнелли, а фамилия другого осталась мне неизвестной.

Сами итальянцы о себе рассказывали следующее:

До приезда своего в СССР, они оба работали грузчиками в Марсельском порту. Жилось им там более или менее хорошо. Каждый имел по несколько костюмов и пар обуви, не плохое питание и квартиру, словом, жили европейцами.... Оба много читали. И так начитались коммунистической литературы, что, наконец, решили поехать в «счастливую» страну, где рабочие зарабатывают не каких-нибудь 250 франков в неделю, а целые сотни рублей. Они с радостью отправились в СССР.

В пути капитан парохода, бойкий и жизнерадостный весельчак, всё время угощал их разными напитками и очень вкусными русскими блюдами, а когда прибыли в Одессу, он добродушно попрощался с ними и передал их в ГПУ.

Одним словом два итальянских коммуниста очутились в подвале ГПУ, а через несколько месяцев и в местной тюрьме. Неизвестно, как проходило следствие и

какими путями ГПУ наводило о них справки в Италии и Франции, но обоим были предъявлены обвинения в каком-то шпионаже, затем их осудили по 6 пункту 58 статьи и дали по 10 лет.

После суда Корнелли некоторое время работал в тюрьме поваром, а его одноделец заготавливал дрова.

Они были очень потрясены всем случившимся и весьма неохотно рассказывали о жизни за границей.

«Ничего, — думал я, — теперь вы, товарищи европейские коммунисты, наверное узнаете разницу между марсельскими, русскими и советскими блюдами!».

В последние дни, перед переводом нас в тюрьму, нашими соседями стали несколько монахов. Это были последние остатки православных отшельников, которые каким-то чудом уцелели от террора 1929-34 лет. ГПУ подобрало их где-то в Абхазии, в каком-то совхозе по культуре и разведению эфирноносных растений, где они работали в качестве чернорабочих.

Там они никого не трогали, честно и усердно трудились и молились...

Отшельнические поселения и кельи, которые были разбросаны по непроходимым местам Кавказского хребта, еще с 1903 года, пережили первую мировую войну, февральскую и октябрьскую революцию, затем гражданскую войну и все годы НЭП'а.

В неприступных горах и ущельях они имели свою пещерную церковь, своего епископа, библиотеку, разводили небольшие огородики, занимались первобытным пчеловодством, ремеслами (изготавливали деревянные ложки, кресты), собирали дикорастущие яблоки, груши, орехи, каштаны и этим питались. В 1929-32 г.г. ГПУ нашло их и там. Оно разгромило их поселения, нетрудоспособных стариков и откровенно враждебных большевикам монахов расстреляло, а остальных разослало по концлагерям.

Уцелевшие же стали цепляться за разные работы

по совхозам и колхозам, пока, наконец, «кировский набор» не зацепил и их.

Кавказские отшельники считали, что времена антихриста уже наступили, и его появление произойдет в России. Ленин — это пока только его предтеча, а большевики — исчадие ада.

Большевикам подобные толкования и пророчества очень не нравились и с носителями таких настроений ГПУ жестоко и беспощадно расправлялось. Особенно беспощадна была расправа с теми, кто откровенно и смело заявлял им в лицо, что они исчадие ада, и что разговаривать с ними, слугами антихриста, они не желают и никаких протоколов на следствии подписывать не будут.

Бесстрашие, мужество и сила веры этих людей были настолько велики, что за ними пошли даже некоторые из следователей ГПУ, которые вместе с ними разделяли их участь, исповедуя Христа.

Какова была дальнейшая судьба арестованных монахов, не знаю.

## МАРТЫН ЗАДЕКА

Когда отца расстреляли большевики, а мать вышла замуж за другого, тоже за рабочего, двенадцатилетний Гриценко начал беспризорничать. Он побывал во многих детских домах и колониях для малолетних правонарушителей, учился там в семилетке и столярной мастерской, но, когда ему исполнилось 17 лет, снова очутился на улице, связался с преступным миром и стал воровать. К 25-летнему возрасту Гриценко имел уже 5 судимостей, около 15 лет общего срока заключения, три побега из Соловков и других лагерей, два раза был женат и вдобавок сочинял воровские стихи... О всех своих похождениях он рассказывал, как о героических подвигах, которые совершал почти шутя. Особенно он хвалился своими смелыми и удавшимися побегами из лагеря и хищением одного «иностранного» чемодана.

У иностранного дипломата, ехавшего в «международном» поезде из Москвы во Владивосток, был похищен дорожный чемодан. Содержимое его, имевшее рыночную ценность, — шелковые, шерстяные и золотые вещи, было продано перекупщикам, а чемодан с оставшимися в нем какими-то бумагами закопан в тайге на одной из сибирских станций, вблизи Омска.

Спустя две недели, виновник этого происшествия произвел в Москве новое воровство, но неудачно, был задержан и очутился в НКВД. В ходе следствия ему дополнительно навязали еще одно обвинение в каком-то московском грабеже с убийством, в котором он на самом

деле не участвовал. Случившийся грабеж по времени совпадал с хищением чемодана и запутавшийся парень, чтобы избавиться от тяжелого обвинения, решил защищаться похищенным чемоданом.

Когда в НКВД узнали, что в чемодане остались еще какие-то планы и чертежи, немедленно же была послана в Сибирь «экспедиция» в составе Гриценко и нескольких агентов. С помощью местных комсомольцев и железнодорожных рабочих пришлось перекопать немало земли, пока, наконец, не наткнулись на зарытый чемодан. Среди всяких бумаг, уже пожелтевших от сырости, был обнаружен военный план Москвы и еще некоторые советские документы секретного характера. Эта находка так обрадовала НКВД, что Гриценко не только простили все его прошлые и настоящие уголовные дела, но еще и наградили деньгами, дали железнодорожный билет на проезд до Харькова и соответствующие документы на жительство. Одним словом, за выкраденный чемодан ему простили всё и сразу превратили чуть ли не в заслуженного по воровским делам героя СССР. Но не прошло и недели, как Гриценко снова попался в каком-то поездном воровстве, и опять очутился в тюрьме.

В тот же день, когда он появился в Новороссийской тюрьме, за историю с иностранным чемоданом урки возвели его в ранг «пахана» и дали кличку Мартын Задека.

Что общего имел он с Мартыном Задекой, — неизвестно, но Мартына Гриценко через неделю вся камера называл только Мартын Задека.

В камере было десять человек уголовников, и Мартын Задека был их вождем. В ночное время они обирали спавших остальных заключенных, а днем непрерывно играли в самодельные карты, спали или учились танцевать чечётку, рассказывали о своих похождениях, любили разные приключенческие истории, пели песни...

Как-то Мартын Задека взлез ко мне на нары, лег

рядом и заговорил взволнованным голосом. Он много рассказывал о несбывшихся мечтах своего детства, о том, как он любил читать книги, в которых говорилось о великих людях, как большевики убили его отца, как он потерял совесть свою и стал уголовником...

— Я верю вам, — говорил он мне тихо, — потому что вы такой же, как мой отец. Сколько раз мы, урки, собирались обобрать вас, но как только подходили к вашему месту, образ покойного отца моего вставал между вами и мной, и я уводил шпану к другим. Я хочу рассказать вам о себе всё, что страшным грузом лежит на моей душе...

И, уткнувшись головой в изголовье, он тихим голосом продолжал рассказывать о своей жизни.

От совершенных злодеяний содрогалась его живая душа, тянувшаяся к свету и правде, и вряд ли нашелся бы на земле хоть один человек, который осудил бы его за то, что он стал беспризорным и уголовником.

Считая виновником своих несчастий только коммунистов, возмущаясь их идеологией, он продолжал:

— Вы знаете, я имею пять судимостей, около 15 лет неотбытых сроков заключения, три побега из лагерей, одну невинно-загубленную душу на своей совести, но я всё-таки честнее коммунистов. Свои преступления и воровские дела я называю преступлениями, и всегда очень болею душой, что не могу стать порядочным человеком. А они делают более ужасные преступления, нежели мои, и называют их «доблестью, геройством, славою, добродетелью». За наши меньшие грехи, нас судят и уничтожают, а их не только никто не осуждает, — им рукоплещут, посвящают стихи и книги, а детям внушают любовь и уважение к ним!

Мартын Задека остановился, тяжело перевел дыхание и снова продолжал негодовать: всё больше и больше возбуждаясь:

— Я окончил только семилетку, но научился само-

стоятельно мыслить и разбираться в вещах и явлениях. — Да, мы, уголовники, честнее их! Мы никогда не позволяем себе отобрать у человека, например, последний кусок хлеба, а коммунисты во время голода вырывали его изо рта у голодных и умирающих. А сколько они наделали беспризорников и проституток, и теперь, загнав их всех в лагеря, постепенно уничтожают, если они не «перековываются» на ихний лад. Или вот, например, еще один факт в натуре: часы, которые я стащил из чужой квартиры, отобрали у меня агенты и теперь сами носят на своих окровавленных руках. Мы, видите, — воры, а они — вожди человечества, хапают у нас наворованное и наслаждаются им! Большевики отличаются от уроков только тем, что они организованнее, сильнее и, главное, подлее и бесчестнее нас. Если НКВД за один уворованный чемодан наградило меня, а за другой наказало, то только потому, что в краже первого оно было заинтересовано, а второго нет. Когда в свое время Сталин ограбил Тифлисский банк, Сочинскую почту и ряд почтовых поездов, то этот грабеж он называл экспроприацией и считал себя правым. А когда мы, его питомцы, делаем то же самое, нас ловят и судят за то, что мы не присоединяемся к его кремлевской «малине». Понял? Вы мне говорите, что нужно всё понять и терпеливо переносить; вы собираетесь страдать десять лет в лагерях, — а я при первой же возможности опять сорвусь, и будь она трижды проклята, эта сталинская перековка! Пусть сначала сам Сталин, этот великий грабитель и людоед, перекуется на порядочного человека, а тогда уже берется за нас. Скажите мне, пожалуйста, — продолжал он взволнованно и горячо, — почему, например, если один налетчик, или два, три, пять, даже сто будут грабить других, то это называется бандитизмом, разбоем, а если этих бандитов и налетчиков соберется, скажем, миллион, то это уже не банда, а советская власть? На какой же цифре кончается банда и начинается власть



«вождей» человечества, — на 101 или 1001? Когда Сталин сидел в царской тюрьме, он тоже считался бандитом и арестантом, а теперь он вдруг стал «отцом, мудрецом, и великим вождем». Ничего не понимаю! Вечером, значит, лег спать бандюгою, а на утро проснулся государственным человеком, да еще и великим. И сна, пожалуй, никакого не видел, а проснулся всесоюзным «паханом». Штука, а? Залез под одеяло какой-нибудь Васька-Косой, а вылез из под него советский гений. И пошла гулять «малина». Да еще и какая! Тут тебе и иностранные дипломаты кланяются, и Академия Наук признает гениальность Васьки-Косого, и сам даже американский президент комплименты ему говорит. А тюремные камеры, где между двумя очередными налетами отсиживался Васька или Йоська-Косой, или хаты, где он жил когда-то во время ссылки, превращают в музей... «Смотрите, мол, товарищи, и прочие граждане, вот на этой койке спал этот самый Васька-Косой, а за этим столом он что-то там обдумывал (вероятно, как ему оттуда драпануть и снова налетать на банки и поезда). А вот это одна из его клочков, под которой он обдελывал свои делишки; а это его друзья, корешки по банде, и т. д.» И всё в таком научном и музейном роде! Раньше, скажем, Академия Наук или дипломат Йоську-Косого в «золотари» к себе не взяли бы, а теперь портреты его вешают на стенах своих кабинетов, книжки о нем сочиняют и подгоняют под его дела науки разные, что он равен солнцу и бессмертным богам... Да и вы не объясните мне как это получилось с пробуждением Васьки или Йоськи-Косого! Клянусь вам моей свободой, что на этот вопрос никто толком не ответит, даже анархисты. Так же, как невозможно сказать, где кончается не-толпа и начинается толпа. Один, два, пять, десять человек — не толпа, тысяча — толпа. А где между ними граница? Один, два, пять — грабители, а миллион — советская власть. Лег спать бандюгой Васькой Косым, а проснулся Ве-

ликим Сталиным! Выходит, что весь секрет заключается в силе власти. Хапай сперва мокрое белье с веревок, затем чемоданы, потом банки и поезда, а дальше запускай когти свои в хвост и в гриву проклятой власти, вышибай из седла насидевшихся в нем, покрепче садись в него сам и подставляй морду свою для художников, фотографов и разных поэтов. И полетят портреты его по всему свету, а стихи по радио. А Васька-Косой ухмыляется: «Позвать ко мне немедленно академика по музейным делам и пусть он изучает мои отмычки, клички, фотографии и прочую воровскую грамоту! А другие ученые пусть займутся моими ногтями, пальцами, пятками и остальными гениальными членами тела, чтобы знали все, кто такой Васька-Косой, когда будут устраивать мне очередную овацию с криками «ура»! Подумайте только: академики изучают Ваську Косого и приветствуют его!

И он стал смеяться, глядя на игравших в карты урок — «будущих мудрых учителей и вождей человечества».

— Значит, — продолжал он после смеха, — вся суть дела в силе и власти, в том, кто кого поскорее объегорит? А раз так, то я пока продолжаю оставаться уркой, да еще и паханом. Я часто задаю себе вопрос, что бы ответил мне на это мой покойный отец? Если бы он мне ответил то же, что и вы говорите, то я...

Он запнулся, не договорил начатой фразы, быстро поднялся с нар, поблагодарил меня за беседу и стал смотреть в окно, напевая слова Есенина из «Письма к матери».

И молиться не учи меня, не надо —  
Прошлomu возврата больше нет.  
Ты одна надежда и отрада,  
Ты мой тихий несказанный свет.

Затем он снова подошел к нарам и со слезами на глазах очень тихо проговорил:

— Я очень хочу стать другим человеком... таким, как был мой отец... Так хочется правды, и над головой уголок чистого праведного неба с ясным солнцем и сверкающими звездами!

Он мотнул головой и еще раз пожал мне руку за беседу и молча отошел к своей компании.

Я смотрел на него и думал: сколько сотен тысяч молодых людей, подобных Мартыну, искалечила преступная шайка большевиков и кто успокоит их мятущиеся души?

Позже, спустя несколько месяцев, когда я находился в Сибири, мне рассказывали, что Мартын Задека вместе с другими уголовными заключенными, был переведен в другую камеру, из которой сделали подкоп, довели его до наружной тюремной стены, но кто-то «стукнул» — и затея провалилась.

После этого их вскоре судили и с разными сроками направили в концлагери.

Завезли их в края отдаленные,  
Где болото, да водная ширь,  
За вину, уж давно искупленную,  
Заклучили в былой монастырь.

## И В А Н Б О Й К О

До октябрьского переворота он жил в одной из станиц Кубани, имел свой домик, усадьбу с огородом, сеял хлеб. А в худые годы, когда еще жил с отцом, батрачил у богатых казаков, зарабатывал хлебом, кукурузой, «масляной». И у него всегда сходились концы с концами, со стола не сходил белый пшеничный хлеб, а из кладовой и погреба — разные припасы. От германской войны он сумел отвертеться и военную повинность проходил в Новочеркасске.

После 1917 года, поверивши большевистским лозунгам и обещаниям, пошел «углублять» революцию. Был на Украине, в Крыму, на Висле.

В 1921 году демобилизовался.

С красноармейскими документами на руках, он, как бывший батрак и буденновец, сразу же попал в актив станицы и был введен членом в станичный совет. В годы НЭП'а он увлекался личным хозяйством, имел хорошую скотину, свиней, выстроил себе новый дом, приобрел городскую мебель, обзавелся «культурной» одеждой... Словом, «обогащался», но из актива не выходил и советскую власть поддерживал. Так он дожил до коллективизации и страшного голода.

Раскулачивание и высылка в Сибирь не только казаков, но и иногородних, произвела на него тяжелое впечатление. Он стал пересматривать свое отношение к большевизму и почувствовал себя противником его. От былых, опьянявших его в годы революции лозунгов, не

осталось и следа. Его товарищи, за исключением немногих, думали то же самое. Некоторые покидали станицу и уезжали в промышленные центры, другие чувство разочарования в большевизме — заливали «горькой».

Особенно сильно росла ненависть к наехавшим из центра разным «двадцатипятидесятникам» и уполномоченным. Одни из них приезжали, другие уезжали, — и все угрожали, требовали «провернуть», «мобилизнуть», «ударить», «разбудить», «подойти вплотную», «не ослаблять темпов», «не размагничиваться», «спускаться на тормозах», «переключаться на ходу», «во-время и умело выпустить отработанный пар» и т. п.

Все требовали выполнения какой-либо «кампании». Проводились «кампании» по распространению госзаймов, по сбору лекарственных растений, по заготовке яиц, всевозможных шкур и шкурок (собачьих, кошачьих, крысиных, кроличьих и т. п.), по проведению месячника дорожного строительства, по борьбе с грызунами, «черепашкой», по сбору утильсырья, по выполнению плана посевной, прополочной, уборочной и других. Основной кампанией была — «стопроцентная коллективизация на основе ликвидации кулачества, как класса» и — хлебозаготовки.

Станица должна была по «встречному» плану дать дополнительно 30 тысяч пудов зерна и «целиком и полностью» вступить в колхозы.

Так называемых кулаков (были еще и «подкулачники», их «подпевалы» и «кулачье охвостье с левацким заскоком») обкладывались тысячепудовыми заданиями и за невыполнение их тут же судили, раскулачивали и высылали.

Середняков (были «мощные», «малосильные» и обыкновенные) и бедняков, уклонявшихся от вступления в колхозы, также раскулачивали и судили.

Весь актив станицы был мобилизован и раскреплен

по кварталам и десятидворкам для выколачивания из населения последних килограммов хлеба. Даже вареную фасоль отбирали у старух и тащили в стансовет. Сушеную грушу — дичку и ту забирали и тащили на заготовительные пункты.

Актив всегда был пьян. Одна часть актива пила просто так, другая — чтобы одурманить голову свою и не реагировать на происходившее; а третья часть пила «по работе». Их угощали станичники, чтобы хоть на несколько дней оттянуть сдачу последнего зерна, а тем временем хлеб закапывали в землю, замазывали в стены домов, замуровывали в печках. Началась новая кампания по розыскам запрятанного хлеба. За обнаруженное зерно актив премировали, а виновных в сокрытии судили.

По усадьбам бродили активисты и комсомол с пионерами и искали, копали, нюхали, щупали «штылями»... Искали друг у друга (самопроверка!) доносили, провоцировали... и находили. Тогда они делились найденным хлебом и принимались за пьянку. Потерпевший из «своих» отделялся несколькими мешками зерна и литрами водки, и актив оставлял его в покое. Это еще было полбеды. Если, скажем, из найденных 30 пудов отдавали половину, то оставшееся зерно было богатством, в то время как другие ничего не имели, пухли и умирали с голоду. Но были и такие активисты, которые «присасывались» к обнаруженному зерну и постепенно забирали его, угрожая попавшемуся 10 годами. Мастерами этих дел были два «партейные». Они по доносу комсомольцев и пионеров находили зерно, сразу или в несколько приемов забирали его, а затем виновных арестовывали и судили.

Иван Бойко также закопал в землю некоторое количество пшеницы и кукурузы. Яму вырыл у себя на огороде, из досок сделал обшивку и засыпал землей, а место замаскировал посевом. Работа была произведена ночью быстро и аккуратно. Сосед Бойко и друг его

детства Василий, также бедняк и активист, последовал его примеру.

Однажды, придя домой из колхоза, где он работал бригадиром, Бойко, застал у себя одного из этих «партейных». Пьяно улыбаясь, он рукой указал на огород и прохрипел:

— Пшеницу ты, Ваня, на огороде засеял правильно, но на яме она имеет другую окраску. Сперва я полагал, что это такой цвет от навоза, а когда пощупал «штылем» — получилась яма с досками. У Василия тоже самое... Бояться нечего — помиримся. Мы люди свои, советские...

В тот же день, вечером, Бойко с соседом своим отвезли ему на квартиру 10 пудов пшеницы и пять пудов кукурузы. Спустя четыре дня, пришлось еще дать 10 пудов, а через некоторое время он потребовал еще столько же. В случае отказа — собирался было заявить властям.

В назначенный день он в третий раз пришел к Бойко за зерном. Его крепко напоили, вывели во двор, пятикилограммовой гирей ударили по голове и свалили в заброшенный колодец, находившийся в соседнем вымершем дворе.

Исчезновение партийного пьяницы и вымогателя не сразу обнаружили. И до этого случалось, что целыми днями он не являлся в стансовет, пьянствуя и развратничая где-нибудь на хуторах. Когда осведомлялись о его местонахождении, стансоветчики, такие же пьяницы, как и он, обычно отвечали:

— На хуторах мобилизует средства!

Но когда прошла неделя и другая, стансовет забил тревогу. Сообщили в районное ГПУ и прокурору. Начались розыски. Даже Бойко и Василию, как активистам, было поручено подслушивать, что об этом гуторит масса. Были арестованы десятки станичников, находившихся

на подозрении у ГПУ — вся интеллигенция, священник, дьячок, но подлинных виновников обнаружить не удалось. Никому и в голову не приходило, что убит он не кулаками и «охвостьем», а настоящими советскими активистами.

ГПУ свирепствовало, а Бойко с Василием помалкивали.

Так прошло два года.

Наступил 35 год. Оставшиеся после голода в живых станичники сливались с прибывшими из северных областей переселенцами (вымерло больше половины станицы). В колхозах была введена система трудодней и разрешена колхозная торговля на местных рынках. В городах и местечках были отменены хлебные карточки. Ликвидировались «Торгсины» и открылись магазины Госторга. Одним словом, люди понемногу стали оживать и постепенно втягивались в новую «зажиточную» жизнь.

Иван Бойко с Василием тоже переключились на новую жизнь. Один бригадировал, а другой работал кладовщиком. Тайна колодца не так уж остро беспокоила их, как это было в прежние годы. Правда, им было жаль всех невинно пострадавших из-за них станичных жителей, но эти люди всё равно были бы изъяты из станицы.

— А всё-таки хорошо сделали, что кокнули гада, — иногда говорил Бойко своему другу.

Станичники, знавшие убитого стансоветчика, также вспоминали:

— Собаке — собачья смерть!

— За такого паразита и греха не будет. Ведь сколько крови человеческой выпил, вампир проклятый?! Сколько несчастных загнал в Сибирь и на тот свет?

Однажды, на масленице, после обильной выпивки у тещи, Бойко очень разговорился и расхвастался, и решил в тайну колодца посвятить свою жену.



— Вчера в станице обратно повязали десятерых колхозников. Ребята из НКВД сказывали, что их арестовали в связи с убийством Кирова, а окромя этого еще и за того чорта. Напрасно они тягают людей... Всё равно не найти им настоящих виновников — концы спрятаны основательно! — многозначительно сказал своей жене Бойко и пригрозил:

— Слышь, Маня, если ты кому-нибудь проболтаешься, тебе — крышка, а мне — гроб, — поняла?

И муж рассказал жене, как был убит коммунист и где его труп. Перепуганная женщина поклялась всеми станичными клятвами и святым крестом, что всё сохранит в строгой тайне.

...А спустя месяц, НКВД арестовало Бойко, жену его и Василия, вытащило из заваленного колодца разложившийся труп коммуниста и повело следствие.

.....

Как-то раз в нашу 39 камеру ввели человека. Низенький, щупленький, сгорбившийся, в крестьянской одежде, с большой торбой в руках, он имел измученный вид, непрерывно курил и, глядя потухшим взглядом в противоположный угол камеры, тяжело и мрачно вздыхал.

На все наши вопросы, за что его арестовали, он отвечал коротким «не знаю», но мы чувствовали, что он говорит неправду. Поздно вечером того же дня его вызвали к следователю, откуда он был приведен только после полуночи.

С вытянувшимся бледно-желтым лицом и запавшими глазами он молча лег на койку, всё время ворочался, курил, кашлял и вздыхал.

— Ну, как, Бойко, твои дела? спросил кто-то его утром.

— Следствие было... С другом Василием очную ставку давали. Пришлось подписать протокол. Жену

отпустили домой, а нам предъявили 58 статью 8 и 11 пункты... Следователь сказал мне, что я спекся... Что это значит, товарищи, «спекся»? — спросил Бойко.

— Нужно, чтобы ты, дружок, сперва «размотался», а потом мы ответим тебе, что значит слово «спекся».

— И Бойко «размотался».

— Ну, а каким же образом НКВД узнало о тайне колодца? — спросили мы его после того, как он нам рассказал о себе и своем деле. Неужели жена твоя проболталась?

— Да. Видите ли, жена моя из набожных, ни одного нищего не пропустила без подаяния, в церковь ходила, постилась часто... Одним словом, была религиозна... А когда Великим постом в нашу станицу приехал новый поп (три года не было священника — ГПУ забрало), все бабы и повалили к нему.

Вел себя хорошо, голосом своим тоже выводил недурно и сам собою еще был молод.

Пошла к нему и моя дура. Понравился он и ей. А на Страстной стала говеть... Три дня всё ходила в церковь, пока не «покаялась» и не рассказала ему о тайне колодца.

На следующий день поп из станицы исчез, — оказался агентом НКВД, — а остальное вам уже известно. На следствии жена вынуждена была подтвердить свою исповедь у попа и мой разговор с нею на маслянице, а Василию пришлось сознаться. И вот, на мой вопрос, что меня ждет, следователь и ответил, что я «спекся».

Бойко мрачно вздохнул и замолчал, закуривая очередную цыгарку.

— Суду всё ясно и понятно! — сказал один из соузников, прозванный нами за страстную игру в шахматы Капабланкой. Он всегда любил шутить и ободрял всех веселым и беззаботным характером.

Подражая советским судьям, он продолжал:

— Но... принимая во внимание все внутренние ка-

чества с внешними обстоятельствами и исходя из точки зрения при абстрактных и социальных доктринах, окруженных капиталистическими пароксизмами международных апперцепций, которые на данном этапе эпохальной концепции переживаемых нами классовых расслоений могут терроризировать советскую идиосинкразию, — суд определил применить к «спекшемуся» гр. Ивану Бойко меру социальной защиты... от 10 лет исправтрудлагерей до переселения на одно из созвездий советского «Зодиака».

Камера засмеялась. Горько улыбнулся и Бойко.

Ему никто не ответил. Смех и улыбки сразу потухли. Все напряженно молчали.

Через месяц Бойко и Василия судили в Ревтрибунале, откуда перевезли в тюрьму, а ночью из камеры смертников взяли на расстрел.

Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал.

...Спустя четыре дня жена привезла Бойко очередную передачу, но его уже не было ни в НКВД, ни в тюрьме.

## Ф Р И Ц

Однажды в нашу камеру, находившуюся во внутренней тюрьме Ростовского-на-Дону НКВД, часа в два ночи открылась массивная дубовая дверь, окованная котельным железом, и в нее впихнули согнувшуюся человеческую фигуру с небольшим узелком подмышкой. Фигура среднего роста, лет 30, в бумажной поношенной пиджачной паре, оглядевшись вокруг себя, глухим голосом поздоровалась с нами и, открыв подвесную металлическую койку, стала торопливо раздеваться.

Когда дверь затворилась и в волчке потонул острый глаз вахтера, старожилы камеры забросали «свежачка» обыкновенными тюремными вопросами: откуда прибыл, за что арестован, какая предъявлена статья, сколько времени уже в заключении, что нового на воле и т. п.

Из предварительных расспросов мы узнали, что наш новый союзник родом из Берлина, стопроцентный немец, бывший член германской коммунистической партии, в 1930 году приехавший вместе с женой своей в «отечество трудящихся всех стран», «чтобы здесь посвятить все свои силы строительству социализма». На ломаном русском языке он назвал нам свое имя и фамилию и попросил звать его просто Фриц.

На следующий день Фриц, не ожидая от нас напоминания о «разматывании», сам начал продолжать прерванный ночью разговор. Оказалось, что Фриц вместе с женой своей, после всех помпезных встреч на польско-

советской границе с оркестром музыки и речами представителей Коминтерна, были сперва направлены в Москву, где в гостинице две недели отдыхали, окруженные подчеркнутым вниманием и уходом. Затем им предложили принять советское подданство.

С советскими паспортами Фриц и его жена были направлены в Ростовский «Сельмаш» на работу слесарями. Здесь они и начали строить социализм.

Через год у них родился мальчик, а еще через год он умер от физического истощения и голода. Жена Фрица тоже опухла и сам Фриц еле-еле передвигал ноги.

Северо-кавказский край, вместе с городом Ростовом, корчился в страшных тисках голода. Украина и Кубань вымирали, а наш берлинец продолжал бодриться и писал своим швейцарским друзьям в Женеву, что в России никакого голода нет, что всё это враки буржуазной и фашистской прессы, — а он, Фриц, бывший немец, а теперь «гордый строитель социализма в одной стране», чувствует себя прекрасно, и благословляет тот день, когда он впервые ступил своей ногой на священную землю СССР.

Друзья из Женевы еще раз запросили Фрица о голоде и людоедстве в России, но их ростовский друг этого письма не мог получить, т. к. оно «задержалось» в НКВД и было подшито к делу Фрица.

А дальше дела пошли, как на экране. Фриц был арестован и посажен в одиночную камеру в нижнем подвале нашей тюрьмы, где его продержали около двух месяцев, вызывая по ночам на перекрестные допросы, которые продолжались по 6-8 часов. Переписку его с заграницей рассматривали, как зашифрованные шпионские информации о Советском Союзе, а его — Фрица, — как ловко законспирированного агента Гестапо.

Не добившись от арестованного «признания», чекисты решили испытать его при помощи свободы. Фрица

внезапно вывели из подвала и сказали ему, что он свободен.

Через некоторое время бывший берлинец был уже у себя на квартире, делась с подругой своей всем пережитым.

Жена плакала от горя и радости.

Недолго был Фриц на свободе.

Поздно вечером того же дня тайные агенты, сторожившие квартиру Фрица, снова арестовали его и привели в нашу камеру. Ему предъявили 6-й пункт 58-й статьи и тяжелое обвинение в шпионаже.

И настали для Фрица снова тяжелые дни испытаний. После моральных и каких-то физических пыток, про которые Фриц боялся нам рассказывать, несчастный вынужден был подписать два протокола и еще что-то. И когда пришел последний раз с допроса, он свалился на койку и срывающимся голосом отчаянно выкрикнул:

— Я отказался от своего германского паспорта, потерял любимого ребенка, обманывал швейцарских товарищей, лишился свободы, жены и всего на свете! Как до этого я был убежденным коммунистом, так теперь меня превратили в убежденного антибольшевика. Когда наши ноги впервые ступили на территорию Советского Союза, мы преклонили колени и целовали эту, как нам казалось, обетованную землю... А теперь, если выберемся из этого ада, мы снова будем стоять на коленях и целовать землю, но... только по ту сторону советской границы.

Форточка в дверях шумно открылась и вахтер сильным голосом прохрипел:

— А ну, прекратите разговоры!

## ТРОЦКИСТ БРАМАРЕНКО

Он происходил из старой украинской дворянской фамилии и в списке своих ближайших родственников насчитывал гвардейского полковника, двух врачей, одного профессора, одного инженера и нескольких других интеллигентов. С этими родственниками Брамаренко почти не был знаком, так как после смерти отца, который умер где-то в царской ссылке, он рос и воспитывался на чужих хлебах.

Из шестого класса гимназии, в 1919 г., он вступил добровольцем в Красную армию и в рядах Буденновской конницы не раз рубился с белыми, поляками и Махно. От этих схваток у него на голове остались глубокие шрамы.

После окончания гражданской войны Брамаренко взялся за учение и самообразование, и в конце НЭП'а он имел не только солидный партийный и советский стаж, но и двойное высшее образование.

В годы НЭП'а, одновременно с занятиями в ВУЗ'ах, Брамаренко работал еще в каких-то важных советских учреждениях, но этим он ни с кем никогда не делился.

В начале тридцатых годов он состоял преподавателем в нескольких ВУЗ'ах, где в 1935 г. и был арестован.

Еще в 1927 г., во время партийной дискуссии, Брамаренко где-то выступил в защиту Троцкого. Это было занесено в его «дело», и теперь, в связи с убийством Кирова, ему это припомнили и обвинили в троцкизме.

После двухмесячного пребывания в краевом Ростовском НКВД, его перевели в тюрьму в Багатьяновском переулке, где мы и познакомились с ним.

Около трех месяцев мы вместе находились в одной камере и очень часто пускались в продолжительные беседы.

Он оставался убежденным марксистом-большевиком, хорошо знал историю философии, исторический и диалектический материализм, социологию, историю русского революционного движения и историю борьбы ЧК-ГПУ-НКВД с врагами советской власти.

В своих высказываниях по целому ряду политических вопросов он иногда обнаруживал осторожно, чуть заметные симпатии к левой оппозиции. Эти симпатии он однажды выразил в следующих словах:

— Он (Сталин) считает непогрешимым одного себя, а остальных людей идиотами, которым необходимо его руководство. Ленин терпеть не мог всяких самореклам и оваций, а «этот» без них жить не может и часто сам себе аплодирует.

Все философские и «проклятые» вопросы он разрешал, как последовательный материалист. Жене своей он старался не изменять только потому, что «после измены на душе остается скверный осадок», а на вопрос одного из студентов, зачем человек живет на земле и в чем смысл бытия, он посоветовал ему найти красивую девушку, сойтись с ней — и тогда все эти вопросы разрешатся сами собой.

Брамаренко очень много знал всяких советских тайн и, судя по всему, знал их достоверно, и невозможно было не поверить его серьезным и правдоподобным рассказам. Если допустить даже, что эти рассказы передавались из вторых рук — они не теряют своего интереса и политического значения даже теперь.



Вот несколько из наиболее интересных его рассказов:

.....

В 1924 году, в Москве, Верховный суд судил известного старого террориста и лидера правых эсеров Бориса Савинкова, арестованного на одной из пригородных дач Минска, после перехода им польско-советской границы. Ему дали 10 лет, посадили в Бутырскую тюрьму, где он, спустя несколько месяцев, якобы, покончил самоубийством, бросившись с четвертого этажа лестничной клетки.

Так об этом в свое время повествовала советская пресса. А вот как оно было на самом деле.

За много месяцев до этого процесса Белорусскому ГПУ удалось напасть на след одной подпольной анти-советской организации. Было установлено, что эта организация имела связь с заграницей и в ближайшие недели ожидала к себе прибытия из Варшавы представителя от Савинкова. Через некоторое время группа была арестована вместе с этим представителем, оказавшимся в прошлом бывшим полковником царской армии, старым эсеровским работником и самым ближайшим помощником и доверенным лицом Бориса Савинкова. У этого бывшего полковника имелась где-то в Белоруссии или на Украине семья, состоявшая из жены и нескольких детей школьного возраста, с которыми он не виделся с 1918 года.

Расстреляв на глазах у него всю антисоветскую группу, ГПУ привезло его в Москву, затем устроило свидание с семьей, после чего предложило ему такую дилемму: или он соглашается работать в ГПУ, с обязательным условием перетащить из Польши в СССР Савинкова, или ему и его семье капут.

Несчастный эсер в конце концов согласился принять это предложение и работа по вызову Савинкова была организована по всем правилам гепеушного искусства.

Под диктовку ГПУ б. полковник Семенов (назовем его так) написал Савинкову письмо с просьбой немедленно приехать в Россию, где якобы по всем областям Поволжья, Украины и Белоруссии вспыхивают крестьянские восстания и что восстания требуют опытного руководителя, — а он, Семенов, один справиться не может, будучи раненым...

Агентами ГПУ письмо было отвезено в Варшаву, передано Савинкову, но последний на эту провокацию не пошел и посланцам ответил:

— Это легенда ГПУ. До тех пор пока ко мне не прибудет сам автор письма с информацией о происходящих событиях, я не поверю никаким рассказам.

Агенты ответили, что Семенов в одном бою с красными был тяжело ранен в голову, и находится на излечении у надежных людей, а их, своих сотрудников, послал к нему.

И на этот раз спровоцировать Савинкова не удалось, и два или три агента вернулись в Москву с пустыми руками.

Было написано второе письмо и таким же способом отвезено к Савинкову. Семенов писал, что находится уже на пути к выздоровлению, но раньше месяца или двух приехать не сможет, т. к. была очень сложная операция черепа, и рана еще не зажила. Если он, мол, не приедет в Россию, то повстанцы без руководства будут разгромлены.

И на этот раз Савинков отказался от поездки в СССР, требуя приезда к себе своего помощника.

После второго отказа ГПУ подвергло Семенова хирургической операции, искусственно создало у него на голове целый ряд больших и грубых шрамов и, после заживления таковых, послало его с четверьмя агентами к Савинкову. Перед отъездом в Польшу, Семенову еще раз дали свидание с семьей и предупредили его, что если

он провалит дело, его всё равно уничтожат в Польше, а семью здесь.

Информация Семенова о повсеместном восстании на Поволжье и Украине была настолько правдоподобна, а ряд шрамов от «сабельных ударов» настолько грозно изуродовали его голову, что Савинков, наконец, поверил и решил отправиться в СССР.

После этого, спустя несколько дней, шесть вооруженных человек с большими «трудностями» перебрались через польско-советскую границу и через некоторое время очутились на одной из пригородных дач Минска, где якобы поджидали их съехавшиеся представители от повстанцев...

В течение следующего дня Савинков и его спутники отдыхали от дороги, а вечером небольшой деревянный дом был переполнен прибывшими агентами.

Около тридцати человек всевозможных «делегатов» от нескольких восставших областей делали доклады с «мест» о положении на «фронте». Костюмировка была настолько удачно подобрана, а роли повстанцев так блестяще разыграны, что даже такой опытный конспиратор, каким являлся Савинков, был обманут и игру агентов ГПУ принял за действительность.

И когда последний взял себе слово для доклада и начал было строить всякие планы о поднятии восстания по всей Европейской части СССР, в это время, по установленному знаку, стоявший рядом гепеушник выкрикнул:

— Довольно, Савинков, дурака валять, руки вверх!

Словно пораженный электрическим током, Савинков мгновенно схватился за свои карманы, где у него находились два браунинга, но увидел направленные на него со всех сторон револьверы и в оцепенении остановился.

— Са-вин-ков! — кто-то громко по слогам крикнул на него из стоявших вокруг агентов.

Конвульсивными движениями он поднял руки вверх, и, бледнея, быстро опустился на стул.

В помещении воцарилась тишина. Тридцать пар глаз напряженно следили за его движениями. Где-то стучали ходики...

Наконец, упавшим оборванным голосом Савинков произнес:

— Я — старый воробей, но вы всё же меня перехитрили.

Когда роль Семенова была закончена, его, конечно, расстреляли, а о своевременном «самоубийстве» Савинкова сумело позаботиться ГПУ.

.....

В своем произведении «20 год» Шульгин рассказывает, как он переодетым евреем с фальшивыми документами нелегально побывал на Советской территории и через некоторое время, выполнив свое дело, благополучно выбрался за границу.

Спустя десять лет, старик снова захотел навестить родные края, и в начале 1930 года начал готовиться к этому опасному путешествию.

Намерение Шульгина стало известно Югославскому филиалу ГПУ, и оно решило оказать старику всемерное «содействие».

Дело это было поручено двум бывшим белым офицерам из его старых киевских знакомых, и подготовка к путешествию началась.

Шульгин был очень обрадован случаю, что среди своих земляков нашел себе попутчиков и, ничего не подозревая, весной 1930 года отправился с ними в далекий путь.

Путешествие было обставлено по всем правилам конспирации и заграничной работы ГПУ со всевозможными «препятствиями» и приключениями на югославо-болгарской и болгаро-румынской границе. А на румыно-советской, где-то на Днестре, была даже инсценирова-

на за ними погоня советских пограничников — со стрельбой, ракетным, прожекторным освещением и т. п. комедиями.

Одним словом, компаньоны Шульгина остались не только вне всяких подозрений, но в его глазах выросли в смелых и отважных героев. Он им вполне доверял и в дальнейшем абсолютно полагался на них не только в СССР, но и на обратном своем пути в Югославию.

ГПУ потирало от удовольствия руки. Матерый монархист и контрреволюционер, эмигрантский идеолог и заправила, наконец-то, попал в его руки. И не только он. Все его друзья и единомышленники, а, может быть, и подпольные белогвардейские группы, уцелевшие еще по советским городам, теперь, наверно, попадут в ловушку, которую устроит им сам Шульгин своими «нелегальными» визитами.

Нужно только предоставить ему полную свободу действий — пусть старик восстанавливает свои старые знакомства и связи.

Нужно показать ему Одессу, Киев, Москву, Ленинград. Нужно показать ему все достижения Советов за истекшие 10 лет и огорошить его старческое воображение грандиознейшими строительными планами намеченных пятилеток:

— Сооружение Днепростроя, Хибиногорска, Московского метрополитена. Перепланировка старой и строительство Новой Москвы. Постройка Магнитогорска, Уралмаша, Харьковского, Сталинградского и Челябинского тракторных заводов, Московского, Ярославского и Горьковского автомобильных заводов... Индустриализация сельского хозяйства... Сооружение величайших в мире гидроцентралей на Волге, Енисее и Ангаре... Сооружение каналов, связывающих Волгу с Уралом, Урал с Обью, Обь с Енисеем, Каспийское море с Азовским, а Азовское с Днепром... Страна будет опоясана первоклассными дорогами и путями сообщения. Мертвые пу-

стыни Средней Азии покроются прохладными парками и цветущими садами. Труд превратится в творческое вдохновение. Колхозы станут зажиточными, а колхозники счастливыми...

А главное для Шульгина — его идеал о «Единой и Неделимой» осуществлялся на незыблемых основах и крепенько охранялся и будет охраняться такими грозными вооруженными силами, каких нет и не будет нигде в мире...

Наконец, нужно показать ему его собственный дом на б. Караваевской улице, в Киеве. Пусть старик сам убедится, что в его доме не жидовские комиссары живут, а занят он детским садом имени Крупской, в котором воспитываются дети рабочих и служащих его бывшей типографии...

И если он, этот честный старик, выскажет хоть несколько слов одобрения и признания того, что ему будет показано, можно спокойно отвезти его в Югославию, и пусть он пишет свое очередное произведение о посещении им Советского союза. И, если в этой книге эти одобрения будут им высказаны, цель игры с ним будет достигнута.

...Через несколько месяцев Шульгин сидел в Загребе и сочинял свой «30 год». Белая эмиграция растерянно разводила руками и восклицала:

— И Шульгин продался большевикам!

## ФЕЛЬДШЕРИЦА ЦВЕТКОВА

Сочинская комсомолка Цветкова донесла в ГПУ на свою мать фельдшерицу-акушерку о том, что она помогает тайным священникам и монашествующим.

Спустя некоторое время, однажды утром, последним пациентом вошел к ней в приемный кабинет какой-то пожилой человек, одетый по-рабочему. На вопрос фельдшерицы, чем она может быть полезной ему, старик расстегнул свое пальто, из-под которого опустился подол рясы, затем снял шапку, показал свои длинные волосы и представился:

— Я тайный епископ Иов... Дайте мне чего-нибудь поесть и немного отдохнуть, и я вечером уйду от вас.

Гостеприимная хозяйка обрадовалась гостю, накормила его, дала помыться, уложила спать, а вечером еще предложила на дорогу денег, и пожелала счастливого пути.

Старик очень благодарил ее и перед уходом благословил.

Прошло около месяца. Как-то раз вечером, к дому фельдшерицы подъехала военная машина, из нее вышло двое гепеушников и пригласили ее поехать с ними к начальнику пограничного отряда, у которого якобы жена собиралась родить ребенка. В медицинском халате и с рабочим чемоданчиком в руках, она села в машину и очутилась... в Ростовском поезде. На ее недоумевающий вопрос, куда они едут, ей ответили, что рожать

будет не жена начальника заставы, а она Цветкова, и с этой целью ее везут в Ростовское НКВД.

Она была арестована.

Утром следующего дня арестованная уже находилась во внутренней тюрьме НКВД, а на другую ночь ее повели к следователю и предъявили обвинение по 10 пункту. Она обвинялась в том, что подогревала угасающую религию среди темных масс населения при помощи шарлатанства, и распространяла контрреволюционные слухи о скором пришествии антихриста и кончине мира: и по 12 пункту: зная о прошлой жизни начальника Сочинского районного уполномоченного НКВД, не донесла на него, что он скрывавшийся белый офицер.

Цветкова смело ответила, что она, действительно, верующая христианка, но виновной в предъявленных ей обвинениях себя не признает и никаких протоколов подписывать не станет.

— А если мы вас сейчас припррем к стене показаниями представителя этой самой вашей православной церкви, что вы тогда запоете нам? — злорадно улыбаясь, спросил следователь у арестованной.

— Никто ни в чем не может меня обвинить, — спокойно ответила Цветкова.

— Хорошо, сейчас увидим, — серьезно проговорил следователь и кому-то позвонил.

Через несколько минут открылись двери и в кабинет следователя вошел... епископ Иов... в полном облачении, с посохом в руке и, подойдя к сидевшей Цветковой, стал ее благословлять. Она, не встала с места и заявила:

— Истинные и верные архипастыри в НКВД попадают только в качестве заключенных... А что вы здесь делаете?

«Епископ» стал ее уговаривать, чтобы она покая-



лась перед «слугами» Божьими во всех своих антисоветских прегрешениях, и он тут же ее, как епископ, разрешит.

Цветкова заявила, что не будет с ним вообще разговаривать.

Началась очная ставка.

«Епископ» показывал следователю, что когда он был в Сочи, она якобы хвалилась ему, что местный уполномоченный НКВД — «свой человек», т. к. он из белых офицеров, и что, по ее молитвам, очень многие неизлечимые больные исцелялись.

— То, что этот человек был у меня в Сочи, — это верно, а в остальном — ложный архиерей и ложные его показания! — ответила Цветкова и отказалась от дальнейших показаний.

— Ну, а что вы, гражданка, скажете, если я покажу вам подобное же заявление, но уже не посторонних людей, которых вы называете лжецами, а от вашей собственной дочери, — а? — в заключение спросил следователь и показал ей лист бумаги, исписанный рукой ее дочери.

Цветкова медленно прочитала донос на себя своей дочери и ответила:

— Нет, это не моя дочь, а член сочинского комсомола...

И горько заплакала.

\*\*  
\*

С пятилетним сроком она ехала на восток в одном вагоне с нами и тихим кротким голосом рассказывала о своем деле.

— Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят, — проговорила она в заключение своего рассказа и, вздыхая, медленно перекрестилась.

Кто-то спросил:

— Интересно знать, кто был этот «епископ» — предатель или же агент-provокатор?

— Очевидно, и то, и другое, — ответил бывший милиционер, осужденный за какую-то аферу.

— Выходит, что да, — ответила Цветкова и еще раз широко перекрестилась.

## БРАТ МЕФИСТОФЕЛЯ

Самый младший сын Васильковского купца и домовладельца Бойтиченка с большим трудом дотянул до пятого класса классической гимназии, затем бросил ученье и стал лоботрясничать.

Старик-отец хотел было пустить его по торговой части, но пятнадцатилетний парень отказался от всяких родительских попечений и наставлений и пригрозил отцу, что, если его станут насиловать и приучать к чему-нибудь, он уйдет из дому и станет босяком. Парня оставили в покое, с тревогой наблюдая за его дальнейшим развитием и поведением. Первое время он увлекался футболом, спортом, шахматами и шашками, а потом потянулся к музыке. Музыка совсем захватила его после того, как где-то на чердаке, в хламе старых вещей, он нашел какой-то старинный казачий инструмент XV или XVI века, вроде гуслей или цитры.

Приведя его в порядок, парень начал учиться на нем играть, и быстро стал обнаруживать недюжинные музыкальные способности.

Парнем-самоучкой заинтересовались местные музыкальные силы, выявили в нем большие способности и предоставили ему возможность выступать сначала в узких кругах специалистов и любителей старинной украинской музыки, а затем и на семейных вечерах и балах.

Через год парень был уже желанным гостем многих богатых и аристократических семейств Киева. Здесь им

заинтересовался гостивший в то время один из профессоров Берлинской консерватории и увез его с собой за границу.

После теоретической подготовки в Берлине, молодой музыкант вместе со своим немецким учителем объездил все столицы Европы и везде имел колоссальный успех. А король английский до того был восхищен его игрой, что даже подарил ему собственный перстень.

Прошло около четырех лет. Бывший недоучка, бездельник и лоботряс, которого мальчишки дразнили «Мефистофелем», превратился в артиста с европейским именем.

Шли годы.

В небольшой шкатулке, пережившей первую мировую войну, революцию, годы НЭП'а и коллективизацию, хранились письма и фотографии 1912-1914 гг. из Рима, Парижа, Вены, Лондона... На них, в окружении разных дипломатов, членов иностранных миссий, Пуанкарэ, Извольского, лорда Китченера и др. бывших руководителей европейской политики, победоносно стоял музыкант — брат врача Бойтиченко.

А под самой крышкой лежала последняя фотография из Парижа «Мефистофеля» с женой-француженкой. И еще были в шкатулке письма из-за границы, и отрезанные талоны от денежных переводов в долларах, и несколько стихотворений антисоветского характера.

И когда в последний раз, в 1937 г., содержимое этой шкатулки энкеведисты показали владельцу ее, врачу Бойтиченко, последний растерянно подтвердил:

— Да, это мой брат, находящийся в Париже. А это его жена... Никакого шпионского шифра здесь нет. Когда-то, еще в детстве, соседские мальчишки дразнили брата Мефистофелем, вот он, по старой памяти, шутя, всегда подписывается этим прозвищем. И мы его так называли... А это его... европейские знакомые...

— Ничего себе Мефистофель и его «знакомые»!  
Пуанкарэ, Извольский, лорд Китченер...

...С десятилетним сроком, за связь с международной буржуазией, по 4 пункту 58 статьи брат Мефистофеля ехал в Дальлаг.

## ШВЕД И ДВА ФИННА

Мы встретились и познакомились с ними в Суздальской пересыльной тюрьме. Их было трое: швед и два финна. Когда их привели в нашу полутемную камеру и староста указал им место на нарах, они в изнеможении повалились на голые доски и стали о чем-то тихо между собой говорить. По внешнему виду можно было заключить, что это иностранцы. Глядя на их растерянные физиономии, камера стала над ними подсмеиваться, показывая им жестами, как они с неба свалились на землю. Они поняли, что эта мимика касалась их, немного оживились и через несколько минут мы уже были возле них на нарах и с помощью плохого немецкого языка и всевозможных жестов завязали с ними дружескую беседу. Они рассказали нам, как они попали в Советский Союз и как им вначале всё очень нравилось.

Старик-заключенный с удивлением слушал их непонятную речь и переспрашивал меня:

— Значит, их целых две тысячи перешло через границу на нашу сторону? Значит, плохо им было на ихней родине, что ли? — интересовался старик.

— Да нет, не плохо. Работали на заводах. Имели хорошие заработки, квартиры, костюмы, часы, радиоприемники, велосипеды. Работали по восемь часов в день, а остальное время отдыхали, гуляли, катались, спортом занимались и... наслаждались советской агитационной литературой. И так наслаждались, что решили,

наконец, порвать с «проклятым капиталистическим миром» и отправиться к советам.

— Не похоже! — качал головой старик и еще поближе подсел к ним. Швед продолжал рассказывать, мешая немецкие, шведские и русские слова.

— И как великолепно нас всех встретили в Ленинграде! Приветствия, музыка, речи, цветы и блестящий ужин. Потом — гостиницы, музеи, бывшие царские дворцы, а через неделю — всех на уральские заводы. Мы очень честно принялись за нашу работу. Все трое работали в одном цехе и спали в одной комнате. Так мы проработали там 10 месяцев. Не проработали, а промучились. И что это за жизнь была в сравнении с жизнью даже чернорабочего в капиталистической Финляндии?

Швед замолчал, вопросительно посмотрел на своих финских товарищей, что-то им по-фински сказал и снова продолжал печальный свой рассказ.

— Мы увидели и поняли, что попали не в рай, а в ад и решили из него бежать. Взяли двух-недельный отпуск и уехали в Среднюю Азию — поближе к афганской границе. Приехали в Алма-Ату, чемоданы сдали в камеру хранения, а сами пошли в разведку. Нужно было изучить маршрут до границы. И вот, где-то в городе у меня из кармана воры вытащили бумажник, в котором хранились наши багажные квитанции. Что делать? В камере хранения вещей наших нам не выдали, а направили к уполномоченному НКВД, чтобы он установил наши личности и проверил по нашим словам содержимое чемоданов, и вот, этот уполномоченный нас и арестовал. На допросе мы откровенно заявили ему, что в Советском союзе мы дальше оставаться не желаем, а просим вернуть нас снова на родину.

Желание наше мы подтвердили подписями и бумагу отдали этому уполномоченному. После этого мы еще два месяца сидели в Алма-Атинской тюрьме, затем нам объ-

явили, что дают нам по 5 лет и куда-то нас повезут, а куда, — мы не знаем.

Когда швед по-немецки сказал «пять лет», оба финна почти одновременно что-то по-фински выкрикнули и кому-то угрожающе замахали кулаками.

Швед замолчал и стал вытряхивать из своих карманов оставшуюся махорочную пыль. Кто-то подал ему «бычка». Он поблагодарил, несколько раз затянулся дымом и передал окурок финнам.

— И по сколько им дали, говорите? — снова переспросил у меня старик.

— По пятаку.

— Мало! Этим барчукам надо было всунуть лет этак по 10, чтобы, каналы, помнили и детям своим заказали, — каков-то советский рай! — с озлоблением выговорил старик, сочно сплюнул в угол под нары и полез на свое место.

Кто-то из слушавших добавил:

— Ну, и наивненькие же эти заграничные пролетарии... говорят — «откровенно заявили», — что, мол, снова желаем в свою Финляндию. А им, дурачкам, за их откровенность да по пять лет лагерей!

Я с трудом перевел им высказанные рассуждения.

— Почему так нехорошо думает о нас русский товарищ? — удивленно спросил швед и стал это передавать финнам.

— В конце своего срока, когда советский рай превратит вас в инвалидов, вы сами это поймете, — ответил я.

И долго еще камера подсмеивалась над ними.



## КАМЕРА ЭТАПНИКОВ

В пересыльной камере Новосибирской тюрьмы НКВД находилось около тридцати заключенных. На тюремном жаргоне этот народ назывался «путаным», т. к. в ту камеру, как пересылочную, направляли людей со всевозможными статьями. Здесь были священники, постоянные сидельцы тюрем из генштабистов царской армии, бывшие участники махновского движения, старые члены эсеровской партии, студенты советских вузов, бывшие кулаки, очутившиеся в тюрьме за попытку выехать с Урала на родину, сектанты, инженеры с каких-то предприятий, агрономы совхозов и колхозов, несколько человек уголовников, три или четыре троцкиста, а дальше шла разная рабоче-крестьянская мелкота, попавшая в заключение за антисоветские анекдоты и разговоры, за связь с «бывшими людьми» и кулацким элементом, и тому подобную советскую чепуху.

Часть заключенных-пересыльников валялись на одноярусных нарах, а остальные прохаживались по громадной камере и вели между собой бесконечные разговоры.

Вот, бывший учащийся какого-то советского зоотехникума Леня. Парню лет 17. Он бродит по камере и всем охотно рассказывает историю своего дела. История обыкновенная, советская. Их было трое учащихся. Помещались они в одной комнатухе интерната, жили, учились дружно, были членами комсомола и т. д. Одним словом, были советским «племенем». В общезжитии у

них была небольшая тумбочка, куда они прятали свои продукты питания. В нее начала заглядывать мышь и учинять там «вредительские» действия. Ее ребята поймали и судили. Устроили ей показательный суд с обвинителем, прокурором, адвокатом и... именем РСФСР вынесли высшую меру наказания через повешение. Мышь на шпагате тут же была повешена. Вот и вся шутка. Ребята поохотали и разошлись. А на следующий день «тройку», судившую мышь, пригласили в НКВД и посадили. Через несколько месяцев им дали по три года — и в лагерь на перековку.

Леня в десятый раз возмущался.

— Никак не могу понять, за что нам дали по три года? Говорят, что за дискредитацию советского суда. Да ведь это же была простая шутка.

— Ничего, ничего, Леня. Курс зоотехникума придется тебе закончить в лагере, а диплом выдадут урки! — подшучивали над ним заключенные.

— И правильно! — угрожающе восклицал Леня. — Честное слово даю вам, что стану налетчиком и буду загонять их туда, где зимуют раки и прочие насекомые. Искалечили мне молодость, так я их (с ударением на их) искалечу так, как Бог черепаху!

— А тебя, пацан, за что посадили сюда? — спрашивают у парня лет 15-16, стоящего рядом с Леной.

— За что? — переспрашивает юноша. — За «террор» против сталинского портрета! — серьезно отвечает он.

— Как это «против портрета»? — любопытствуют заключенные.

За парня отвечает Леня.

— Видите, Сашка учился в семилетке. Во время перемены стали пускать «мотыльков» по стенам класса. — Знаете, немного расщепляется перо, — в него вкладывается квадратик бумажки и — мотылек летит. И вот Сашка нечаянно угодил этим «мотыльком» в порт-

рет Сталина, прямо в лицо. Ученики донесли директору, а директор куда надо, вот и всё!

«Террорист» (с пятилетним сроком) стоял и мрачно грыз ногти.

— Ничего, — заключил Сашка, — абы до весны, а там махнем! Вы не смотрите на меня, что я такой низкорослый. За две недели до вашего этапа через нашу камеру проходила целая польская школа, ребятишек душ 70, — прямо одна детвора с десяти лет и до моего возраста... Учились они себе в классе, в своем каком-то Мархлевском районе, возле самой польской границы. Школа была на польском языке. Так вот, к школе этой во время уроков подъехали две машины ГПУ и всех — на Сибирь, со всеми, можно сказать, учителями и директором. Говорили — вроде забрали их за шпионаж, который они для фашистов сделали. Вот это были ребята! Только бы до весны!

— Будет тебе трепаться, Сашка, пойдем лучше в шашки дерганем, — вмешался Леня и потащил его с собой в угол на нары.

Вот еще прогуливается по камере инженер Калугин. Его арестовали на каком-то военном строительстве, после пыток и терзаний дали 10 лет и направили в лагерь. Ему сорок лет, но он выглядит стариком, поседевшим в подвалах НКВД. Оба глаза косят в разные стороны (от сильного удара рукояткой нагана в переносицу), лицо и лоб в шрамах, во рту нехватает пяти зубов: выбили. И только после последних пыток Калугин вынужден был «сознаться» во «вредительстве» и подписать протоколы обвинения.

А вот, проходит по камере в поисках закурить бывший генштабист Челпанов. Он уже отбывает третий или четвертый срок, превратился в дряхлого старика и инвалида и просит у Бога смерти.

— Учтите, уважаемый товарищ, — говорит он тихо и бесстрашно. — В Советском союзе полковники Ген-

штаба уборные чистят по тюрьмам и лагерям, а людоеды и людоедки с Кубани и Украины, находящиеся в Соловках, похваляют «хозяина». Триста сорок людоедок-баб, хоть ободья на них гни, — для чекистов разводят огородинку всякую, а меня заставили чистить их уборную. И вот они остались в Соловках, а меня освободили на одну неделю. Т. е., через неделю меня снова арестовали и с новыми пятью годами везут на Восток.

Старик трясся всем телом и просил хлеба и табаку. Со стоном он продолжал:

— Просил их — расстреляйте меня, не мучьте! «Знаем, говорят, — кого надо расстреливать, а кого перековывать». Так вот, до того уж меня «перековали», что себя не узнаю — побираюсь... Зачем дальше влачить это убогое прозябание?

Старик непрерывно курил (он подбирал бычки) и заговаривался:

— Жизнь — пустота, как дырка от бублика, а в пустоте этой вертятся одни факты да люди, умноженные на классическую подлость якобинцев. Клаузевиц эти вопросы не так решал...

Генштабисту заворачивают толстую цыгарку и дают прикурить. Он затягивается и успокоенный удаляется.

## ДАВАЙ - ДАВАЙ

Ноябрь 1935 года.

Центральный Распред Сиблага НКВД.

Мрачное, грязно-красноватое трехэтажное здание Мариинской Пересыльной тюрьмы на фоне грозного квадрата — зоны, охраняемого молчаливыми «попками» на сторожевых вышках. По ночам — прожектора и немецкие овчарки.

Тюрьма столетняя...

Говорили, что через нее проходили декабристы и их жены, позже — народники всех мастей и оттенков, а затем революционеры 1905 года и якобы даже «сам» будущий «вождь» народов Иосиф Джугашвили...

Говорили, что эта тюрьма всегда так переполнена бывает только потому, что в ней побывал сам Сталин и, так сказать, распахнул ее ворота для тех, кто в будущем не согласится рукоплескать его кровавым экспериментам...

Действительно, эта проклятая тюрьма всегда была полна заключенными со всего Советского Союза. По точным данным Учетно-Распределительного Отдела этого узилища, только за первое полугодие 1935 года прошло через него арестантов «Кировского набора» более 360 тысяч человек...

Миллионы заключенных прошли через ее коридоры и камеры, чтобы потом попасть в какой-нибудь отдаленный угол территории Сиблага и там погибнуть от голода, холода и тяжкого каторжного труда.

Сталин позаботился о том, чтобы через эту тюрьму проходили представители всех национальностей России, включая своих грузинских земляков.

В стационарных тюрьмах разрешались пяти- или десяти-минутные прогулки во дворе, а в этой коробке люди сидели без прогулки до тех пор, пока их не вызывали в этап или же не выносили на носилках в больницу или в мертвецкую. Тогда только можно было слышать в тюрьме и вокруг нее:

— Давай выходи! Давай мыться! Давай за обедом! Давай собираться в этап! Давай становись! Давай не разговаривать!

В остальное время администрация и охрана тюрьмы зловеще молчала и только «обслуживающий персонал» из урок свободно вел разговоры с заключенными. Но и они уже, подражая своим патронам, часто выкрикивали знаменитое: «Давай-давай»!

Хотя заключенным и не разрешались громкие разговоры, но когда в каком-нибудь конце коридора раздавалось «давай-давай», вся тюрьма, словно встревоженный улей, сразу начинала гудеть, шуметь и громко перекликаться.

Даже так называемые доходяги, которые умирали, так сказать, на ходу, даже эти живые скелеты оживали тогда и включались в общий гул тюрьмы.

Даже восьмидесятилетний осетин Назимов, с большим усилием поднявшись на локтях, чтобы сесть по-турецки на свои худые ноги, дребезжащим старческим голосом выкрикнул:

— Давай-давай, таварыш!

Потом он взглянул на меня и, заметив на моем лице улыбку, гневно заговорил:

— Опять «давай». Вся наша жизнь «давай». Вся смерть «давай». Када канец будет?

— Скоро конец будет, старик, скоро он придет, по крайней мере, для вас, — откровенно ответил я ему.

Старик явно доходил и доживал свои последние дни, если не часы. Но он продолжал еще бодриться, курил какую-то вонючую гадость и всё время ругал большевиков.

...Наш аул имел тысячи всякий скот. Был у нас горский конь, который перескакивал скалы, овраги и опасности. Был у нас сильный такой буйвол. Был у нас молочный корова и крикливый ишак. Был у нас жирный барашка и много куриц. Был у нас кавказский вино и фрукт. Был у нас шашлык, брынза, мамалыга, белый булка, хороший джигит и вольная жизнь... Никто нас не считал. Никто нас не знал, сколько наш аул имеет всякий стада. Мой дед не знал, мой отец не знал, мой старший брат не знал, наш мулла не знал, русский пристав не знал, наместник не знал, сам царь Николай не знал — один Бог знал! А когда пришел большевик, — всё узнал и посчитал... Посчитал даже то, что еще не могло радиться и вылупиться из яйцо. Всё, говорит, должно быть по плану. Долой природа, говорит! Мы ее, говорит, сделаем на свой система. Мы ее, говорит, возьмем под кнопки и будем кнопками командовать ею: нажал кнопка — пашел дождь, нажал другой — солнце светит, нажал третий — красивый барышня прибежал, нажал еще один кнопка — шашлык с вином в рот сами идут... Всё, говорит, должно быть по плану. А я гавару ему: «Какой такой план? Пачему курица должен давать яйцо по плану, а не своя природа? Пачему мы должны тебе отдавать всё наше добро?». А он пошел шалтай-болтай гаварить и всё: «Давай — выполняй план». И пошли выполнять этот план. Один приехал, другой уехал, третий снова приехал, четвертый опять уехал, пятый снова приехал... За тридцать лет царский пристав один раз приехал в наш аул, выпил вино, кушал шашлык, говорил с нашими стариками и уехал снова на тридцать лет. А теперь тридцать человек агитатор в один день в один аул все сразу приехал и все

сразу говорят... Адин гаворит: давай корова, другой гаварит: давай бычок; третий гаварит: давай молоко; четвертый гаварит: давай барашка; еще гаварит: давай делать брынза; еще гаварит: давай ловить медведь и лисица; еще гаварит: давай Бога с неба скинем; еще гаварит: давай много табак, давай сено касить, давай кино делать, телеграмм Сталину давай пошлем... Всё ограбил у нас, всё забрал, а на память оставил нам портрет Сталина. Почему такой шалтай-болтай делается на свете?

Старик тяжело перевел дыхание, откашлялся, закрыл глаза и, вытерев себе лицо башлыком, снова стал причитать.

— Адин раз приехал ко мне три журналист-писатель. Такой адин блондин в очках, другой постарше — поэт, третий из них — слабей, корреспондент, говорит, был... Вот они и гаварят мне: «Старик, давай мы с тебя книга будем писать, кино сделаем, ты нам хороший басня расскажешь, тема для журнал будет, в Москву повезем, всем покажем — даже Сталину самому»... Сабрали это они нас всех стариков от наш аул и стали нам читать-гаварить, как нужно строить комуну и всякий калхоз. Много они гаварили, а наш старик всё время молчал: Сибирь боялся. Я тоже молчал. Но када этот в очках, старший их, спросил нас, нравится ли нам советский власть, я не мог уже выдержать. Так только мог сказать Аллах да его пророк... И я сказал:

«Когда ты напишешь книга про горцев, то в конце эта книга так напиши: «Горец, старик Назимов, молчал и слушал, а потом сказал: «Советский власть очень хороший, но только очень длинный!». Када я это сказал им, все наши старики молчал. Весь народ наш молчал, как Эльбрус перед гроза. Журналисты тоже молчали. Молчал и краснел. Я знал, что сказал... Большевицкий политика очень сильный и хитрый. Но он очень боится правды, как осы дыму... Я это знал и сказал правду. За



себя и за весь наш народ. Я знал, что сказал, и знал, что за это меня загонят в Сибирь. Я не боюсь смерти. Я хочу умереть за правду. Большевик ее очень боится. И мне за это судили и дали десять лет... Почему десять лет, если я може завтра умру? Я — старик. Дарагой мой, помни, что этот старик тебе сказал: большевик можно бить только правдой. От нее ани и погибнут. Но не скоро. Тогда погибнут, када люди начнут жить правдою...

Старик опять замолчал, перевел дыхание, тяжело закашлялся и стал сморкаться. Потом кротко улыбнулся, молитвенно закрыл глаза и лег в свой темный, кишаший клопами угол.

Ночью старик Назимов умер.

А утром из Санчасти пришли рабочие, положили его на носилки и одновременно оба выкрикнули:

— Давай, выноси!

## Б У Н Т

Была ранняя весна 1936 г.

Центральный лагпункт Мариинского концлагеря НКВД был переполнен. Не только громадная трехэтажная тюрьма, но и около двух десятков бараков и землянок не могли вместить бесчисленные этапы, непрерывно прибывающие из Новосибирска.

Плотными рядами, как селедки в бочке, люди сидели и лежали на верхних и нижних нарах, под нарами и в проходах, — везде, где еще оставались никем не занятые места. Даже на полу, возле самых дверей, где обычно хлюпала грязь и были следы с вонью от параши, — даже здесь сидели и лежали темные обессиленные фигуры людей.

Удушливый воздух был насыщен дурным запахом потных и больных человеческих тел, махорочным дымом, дегтем, вонью калмыцких тулупов, серной мази, иодоформа...

Электрические лампочки блестели желто-бледными, чуть заметными точками, а керосиновые — чадили и тухли. Людям становилось дурно. Особенно усиливался этот кошмар по ночам.

Тысячи людей спали тяжелым сном без необходимых движений, в одних позах, одни «валетами», другие «калачиками», третьи — сидя или навалившись друг на друга. И, если ночью кто-либо вынужден был вылезать из этих объятий, то на свое место он попасть не мог, т. к. сонная масса, словно жидкость, немедленно запол-

няла «пустоту». Как до параши, так и обратно, к своему месту, нужно было шагать, через лежавших людей, из-за чего в помещении поднималась страшная богохульная ругань, проклятия, плачь и вопли.

Иногда этот сонный гул немного затихал, но потом через несколько минут снова поднимался, и еще больше несло ругательств по адресу двигавшихся по камере людей.

И так проходили все ночи.

А в одной из таких землянок дошло до того, что урки, занявшие в задних углах верхние нары по «малому» совсем не выходили, а мочились «не переводя дыхания» в щели под нары. Моча текла под нижние нары, оттуда поднимался невероятный гвалт и крик. Кто-то кого-то ругал, угрожал избиением, заявлением в третий отдел...

На этот шум появлялся иногда вохровец, слушая протесты пострадавших, с циничным хохотом вставлял:

— Ничего, интеллигенция, до «звонка» (окончания срока) обсохнешь!

Больше всего попадало тем, которые спали под нижними нарами. Этот этаж назывался «колхозным сектором». Урки загоняли сюда колхозников, разных интеллигентных стариков, духовенство и даже «своих» в наказание за нарушение их блатной «морали».

Сюда текло не только с верхних и нижних нар; урки выливали сюда помой, воду, вчерашнюю баланду. И «колхозный сектор» должен был терпеливо всё это переносить, ибо за жалобы выливалось на него еще больше всяких нечистот.

Впавшие в обморочное состояние или умершие лежали со своими живыми соседями всю ночь и только утром выносили их в санчасть.

Люди болели, задыхались, теряли сознание, сходили с ума, умирали от тифа, дизентерии, кончали жизнь самоубийством. Вскрывали себе вены, отрубали пальцы и

руки, глотали спичечные головки, химические карандаши, устраивали себе «харакири», уксусом и солью вызывали на теле своем трудно поддающиеся лечению язвы, в коленные сухожилия вливали большие дозы керосина, симулировали эпилепсию, бились о стенку головой — лишь бы только остаться в этом аду. Как ни трудно здесь было, но на «командировках» — было труднее, так как помимо всего прочего, там принуждали еще тяжело работать. Если здесь был ад, то там было во сто крат хуже. Там несчастных заключенных голыми ставили на съедение комарам. Там садисты издевались над людьми, морили их голодом, травили овчарками, опускали в прорубь для «перековки». Там царил жуткий произвол, безграничное отчаяние и неизбежная, никому ненужная одинокая смерть... И, чтобы не попасть в эти «оазисы смерти», как их называли заключенные, шли на всё. А там приходил новый этап, которым затыкали «узкие места», и на некоторое время старожилов оставляли в покое.

Этого добивались исключительно урки. Смелые, хитрые, дерзкие, идущие на любой риск, они-то и оседали в Распреде, а остальных гнали на «командировки», откуда уже мало кто выходил живым.

Урки, как «аристократия» всех мест заключения, всегда и везде верховодили, задавали всем тон, спали на лучших местах, грабили и обкрадывали остальных заключенных, имели тесный контакт с кухней, кладовой, санчастью и прочим «начальством» лагпунктов, которое рассматривало их, как «бытовиков и социально-близких», предоставляло им ряд привилегий.

— Для нас тюрьма — родной дом, а лагерь — курорт! — восклицали они.

Но эта философия дешевого хвастовства мгновенно улетучивалась перед суровой действительностью заключения. При первой же возможности урки бросались к «зеленому прокурору». Свое пребывание в «родном

доме» они с неопи­суемым восторгом меняли на самое мизерное прозябание на «воле». Если же предприятие с «зеленым прокурором» не удавалось, а оставаться на «курорте» становилось невоз­мogu, они затевали неравную борьбу не только с тюремным режимом, но и с чекистами. Тогда объявлялась коллективно — органи­зованная голодовка «мокрая» или «сухая» или взрывался дикий и оглушительный крик. На жаргоне урок это называлось «дойти до социализма», т. е. до последней степени нужды и отчаяния.

Этого страшного крика чекисты боялись, как огня. От голодовки страдали одни лишь участники ее и чекистов это не особенно беспокоило. Не всё ли равно, отчего гибнут заключенные: от тюремного режима или голодовки. Ведь циркуляр ГУЛАГ'а ясно гласил: ни к кому никакого либерализма не применять.

Но этот организованный дикий крик был сильнее всякого приказа из Москвы. Он страшил чекистов своей психической детонацией, от которой находившиеся в об­морочном состоянии вскакивали на ноги, умирающие оживали и тоже присоединялись к этому ужасному крику, собаки вытягивали вверх морды и завывали, внутренняя охрана срывалась с мест и убегала за «зону», подростки трепетали и плакали, старики шептали молитвы...

Когда-то воины римских железных легионов плакали от криков древних германцев — такой ужас наводили они на них. И этот же ужас чувствовали и садисты из ГУЛАГ'а и боялись его взрыва.

...Летний нестерпимый зной. На какой-нибудь станции в дальнем тупике стоит эшелон с этапом. Товарные вагоны наглухо закрыты. В каждом набито по 50-60 человек заключенных. Стены и пол вагонов от пота и духоты становятся мокрыми. Дышать не дают. Во рту пересохло. Люди задыхаются, теряют сознание, умирают.

И вот, в этой смертельной духоте взрывается крик.

Сначала в одном вагоне, затем в другом, в третьем, а потом этот крик подхватывает весь эшелон — 20, 30, 50 вагонов.

И чекисты начинают беспокойно и лихорадочно метаться, и вода немедленно же появляется. Немедленно, лишь бы заключенные перестали кричать.

В тюрьмах и концлагерях такой дикий крик заражает всех людей, особенно уголовных и своей непреодолимой детонацией задевает самые темные зоологические стороны подсознания и сливается в один клубок психоза.

Подобное явление возникает среди рогатого скота, когда он собирается в стадо. Стоит одной или несколькими единицам найти свежие следы крови или учуять трупное тление, как их сразу начинает охватывать какое-то странное и дикое состояние. Скотина начинает дико реветь, ногами копать землю и бросать ее вверх, хвост поднимается выше туловища. На рев единицы собирается стадо, и скотина начинает бесноваться.

На Украине зоологи и крестьяне это явление называют «ревеськом».

Старые опытные чекисты свои издевательства над несчастными людьми редко доводили до этого «ревеська», но всё же время от времени где-нибудь вспыхивал этот бунт и грозил чекистам большими бедами и неприятностями.

Особенно эти случаи возникали в тех местах заключения, куда часто вливались большие свежие этапы уголовников.

Случилось это в Мариинском центральном лагпункте или «Распреде». И случилось это так.

Из Москвы и других городов в Мариинский концлагерь прибыл эшелон с женским этапом «Кировского набора», в котором было около 1500 заключенных. Среди этих женщин было сотни две, так называемых «уркаганок», т. е. воровок и проституток. Как политические,

так и эти женщины предназначались на сельскохозяйственные работы по «командировкам» и на время карантина и до разбивки их поместили в 7-й колонке.

Несколько землянок и столько же бараков было переполнено прибывшими женщинами и здесь создавалась такая же теснота и атмосфера, как и в мужских бараках лагпункта. Кругом слышались возгласы возмущения, негодования. Атмосфера накалялась. С наступлением следующего утра уркаганки подняли бунт.

И началось нечто ужасное, не поддающееся никакому описанию.

Около двух сот женщин, словно по команде, мгновенно разделись и совершенно голые выскочили во двор.

В непристойных позах толпились они возле вахты и кричали не своими голосами, рыдали и хохотали, ругались, в страшных конвульсиях и припадках катались по земле, рвали на себе волосы, до крови обдирали лица, снова падали на землю и снова вскакивали на ноги и бежали к воротам:

— А-а-а-а-а-у-гу! — редела толпа...

Это была страшная массовая истерия женщин, доведенных большевизмом до последней степени отчаяния. Это был ураган женского протеста, тяжелых страданий, до которых довела их советская «перековка». Две сотни женских душ, раздавленных колесом большевистской машины, корчились в нечеловеческих муках.

— Мама, мамочка, ро-о-о-дная, зачем ты породила меня несчастную?! — плакала одна из бунтарок с окровавленным лицом, забившись в угол между бараков. Она уже не буянила, но стонала с причитаниями и от этого становилось еще более жутко.

Пожарная команда подъехала к самым воротам, размотала два шланга. Две мощных струи холодной воды ударили по массе женских тел, которая с визгом и ругательствами отступила к баракам, но, спустя несколько минут, с криком «ура» снова бросилась к воротам.

Передние ряды бунтарок сбивались с ног и падали в грязь, задние напирали еще сильнее и тоже падали на тех, которые уже валялись в лужах, а шланги продолжали выливать сотни ведер воды на кучу женских мокрых и грязных тел:

— Стреляйте в нас, палачи проклятые! Стреляйте!  
— орала куча тел.

— Лягавки вонючие! — хрипло доносилось откуда то из глубины кучи.

— Даешь начальника Марлага!

Одна бунтарка с растрепанными волосами и безумными сверкающими глазами взобралась на крышу переднего барака и быстро-быстро стала петь слова известной тюремной песенки, выстукивая в такт руками:

Молода девчоночка  
Родила ребеночка,  
На ножки поставила,  
Воровать заставила...

Потом она как бы опомнилась, руками охватила голову и голосом, какой можно услышать только в тюрьмах, запела:

Не плачь, подруженька, ты девица гулящая,  
Больна, измучена, с истерзанной душой,  
Ах, всё равно, уж наша жизнь давно пропащая,  
И тело женское поругано судьбой.

.....

Отдельные голоса из мокрой кучи грязных тел продолжали еще выкрикивать, но сила бунта уже тушилась холодной водой.

Толпа еще несколько раз вскакивала на ноги, отходила назад к баракам, чтоб снова броситься в атаку, но вода останавливала ее, слепила глаза.

И неизвестно, чем бы это всё окончилось, если бы не прибыл начальник Марлага и местный прокурор.



Поливание водой прекратилось. Мокрые и грязные женские тела стояли возле ворот и гневно выкрикивали:

— А-а-а, приехали высоковольтные бандиты!

— Палачи проклятые!

— Кровопийцы!

— Вампиры!

— Стервятники!

И только тогда успокоились бунтарки, когда пообещали удовлетворить их требования.

...А на следующий день «колхозный сектор» тихими голосами делал свои выводы:

1-й голос: — Вот вам, граждане и советский социализм! Своими идиотскими экспериментами натворили уркаганок и проституток, а теперь их здесь «перековывают»! Вот это и есть тот ад, который когда-то рисовали на картинах. Только на тех картинах дьяволы были черные, а здесь красные.

2-й голос: — Одна Содома и Гомора! Времена антихриста настали. Так я говорю, батюшка, или нет?

3-й голос: — Там где кончается религия, там начинается большевизм. И трагедия нашего века заключается в том, что эту основную истину никто или мало кто понимает.

## ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОРГАЕТ

...Внутренняя тюрьма НКВД. Под тюрьмой громадные двухярусные подвалы. Мрачные и зловещие. И в них всегда жуткая тишина. Как в могиле. Чтобы не нарушать эту тишину, говорят очень тихо, или шопотом, а под ногами в коридоре тяжелые веревочные ковры. Служители-вахтеры ходят в валенках и хищными глазами вглядываются в волчки. Чекисты очень любят тишину подземелий. От этого многие из заключенных сходят с ума или сами на себя наговаривают. Когда из этих подземелий несчастного вызывают на допрос, он наполовину уже «обработан» этой тишиной и молчанием. И, под улыбки следователей, эти «обработанные» «разматываются» и подписывают себе смертный приговор. Даже смертники, выводившиеся из нижнего этажа подвала, молчаливо шли к выходу, где их поджидал «Черный ворон». Правда, старожилы тюрьмы рассказывали, как однажды, в полночь, в их коридоре раздался страшный крик: «Прощайте, товарищи, прощайте!». И от этого предсмертного крика в камерах и коридоре стало так тихо, что узники могли слышать, как лихорадочно бились их сердца. И с тех пор крики больше не повторялись. Обреченных на смерть выводили и выносили к «Черному ворону» или в «бойню» (специальное помещение для расстрела) с резиновой грушей во рту и связанными руками. Несчастные молчат или только мычат. Одного такого вели по коридору, а он: мм-э-э-вм!

Страшно! А палачи шопотом успокаивают его: «Тише, тише!».

Однажды нашу камеру послали произвести уборку нижнего этажа этого подземелья. Было очевидным, что приготавливали его к приему новой партии смертников. Спустившись в него, мы очутились в бетонном помещении, тускло освещаемом слабым электрическим светом. Из глубины мрака на нас глянули тысячи человеческих глаз, наполненные предсмертным ужасом, отчаянием и мольбами. Сколько здесь их побывало с 1920 г.?

В архивной комнате мы случайно увидели много-ярусные полки с «делами». И от каждого «дела» свешивался ярлычок с номером. Среди них мелькали пятизначные и шестизначные цифры... Сколько за этими номерами скрыто расстрелянных, погибших в концлагерях и тюрьмах? Сколько горя, пыток, страданий и мук человеческих хранит в себе этот чекистский архив? И теперь, в мраке подземелья, мы чувствовали устремленные на нас взоры страдальцев и мучеников. Нас было четверо уборщиков и мы, пораженные и оцепенелые, стояли и дрожали, охваченные затхлой сыростью подвала и страхом.

...В одной из камер смертников, в которой, быть может, накануне еще находился приговоренный, на небольшом столике, ножки которого были привинчены к бетонному полу, лежало два кусочка сахара... Может быть, смертнику перед смертью предложили чаю попить? Приговоренного увели, а сахар остался... Кто может сказать, что переживала жертва в последние свои минуты? И если бы не было учения о воскресении мертвых и Страшном суде, его нужно было бы создать, чтобы могли обнаружиться все мысли и дела человека за всю нашу историю! Какое это будет страшное зрелище!

...А ночью, когда на верхних этажах здания НКВД, под аккомпанимент рояля, чекисты пели оперные арии и романсы, «Черный ворон» подкатывал к подземельям,

забирал приговоренных и куда-то увозил их, Может быть, останутся и после них на столике кусочки сахара, а в архиве прибавится еще несколько папок с шести-значными номерами?

...Ночь. Первый сон заключенного... Снятся свобода, близкие, знакомые, зеленые луга, цветущие сады и солнце... Или грозные скалы, а по ним тропинка, скользящая в пропасть... И в эту пропасть летит он, заключенный, хватаясь за кустики по скалам. Зацепился и в ужасе повис над пропастью. И во сне сознает, что это только сон, что стоит только вздрогнуть и проснуться, как этот кошмар исчезнет. И чувствуется, как кустик обрывается и камни с шумом падают в пропасть. Еще мгновение и спящий полетит вниз и всему будет конец. Но сознание твердит, что это сон и требует пробуждения. И заключенный просыпается. В дверной форточке красное лицо вахтера что-то шепчет.

— Не слышно, громче — отвечают ему.

— На букву М. — есть?

— Михайлов.

— А еще?

— Минаев.

— А еще?

— Мишкин.

— Приготовьтесь... без вещей.

Вздохи облегчения. «Без вещей! Ну, слава Богу, к следователю!». Пошли. Один или два конвоира. Под ногами ковры. И могильная тишина ночи. Впереди вспыхивают красные лампочки, сигнализируя шествие арестанта. Конвоиры командуют: «Направо»... «прямо»... «налево»...

Дверь в комнату следователя...

— Стучи!

— Да! — откликается голос из-за двери и красные лампочки все сразу тухнут.

...Комфортабельный кабинет. Мягкая мебель. На по-

лу и стенах дорогие ковры и картины. Из трех белых стеклянных шаров струится мягкий убаюкивающий электрический свет. На массивном письменном столе в бронзовой раме, зажатой лапами небольшого гипсового льва, портрет Сталина. Перед столом — мягкое овальное кресло. По ту сторону стола в таком же кресле сидит следователь, человек лет 40. На правом углу стола телефон с двумя трубками — внутренний, связанный со всеми отделами НКВД и городской... В левом углу кабинета в огромном стоячем футляре равномерно тикают настенные часы. Окна закрыты ставнями и завешены тяжелыми занавесами.

Вошедший в кабинет заключенный растерянно осматривается. Некоторое время следователь пишет, затем снимает трубку и начинает говорить по телефону, косым взглядом наблюдая за выражением лица обвиняемого, который вслушивается в вопросы и ответы следователя. Из первых же слов обвиняемый узнает, что разговор ведется о его знакомых, проживающих в разных городах. Но обвиняемый делает безразличное лицо и спокойно начинает сдерживать искусственные зевки.

Игра не вышла. Следователь кладет телефонную трубку на место и, многозначительно улыбаясь, начинает игру с другого конца. Вежливо, деликатно, предупредительно... Красивая 20-летняя буфетчица приносит сладкие пирожки, черный кофе со сливками и дорогие папиросы.

Ужин в таком уютном кабинете!

— Может быть, хотите коньяку или вина?

— Нет, спасибо.

— Ну вот, видите, Василий Петрович, что вы во всем ошибались... Вам наговорили, что здесь у нас, чуть ли не какие-то застенки с инквизиторскими пытками, а вы теперь имеете полную возможность убедиться в противном. Конечно, в отношении врагов своих, как сказал Максим Горький, если они не сдаются, мы беспощадно

их уничтожаем, но с такими, как вы, у нас разговор должен быть иной. Советская власть не только карает, но и милует и перевоспитывает. Из белогвардейского графа А. Толстого мы сделали пролетарского писателя. И если мы с вами найдем общий язык и понимание друг друга, — и вы будете у нас не на последнем месте. А сегодня нам нужна ясность и уточнение ваших вчерашних показаний. Если вчера вы решили сказать «а», то почему бы вам сегодня не сказать и «б»? Ну, предположим, что вы бывший белый офицер, действительно, оставили Францию, чтобы умереть на родной земле. Но вы не сказали нам самой главной причины, побудившей вас приехать в Советский Союз. Какое задание поручил вам выполнять французский генеральный штаб?

Клубы ароматного дыма и гипнотизирующие взгляды следователя. Ужин обрывается. Потухшая папироса дрожит в руке обвиняемого. Глухим, нервным голосом отвечает:

— Клянусь вам честью русского мундира, что вчера я рассказал вам о себе всё... На родину возвратился я, чтобы здесь мне умереть. Я слишком люблю Россию, чтобы мог быть предателем ее... Я — солдат и по-рыцарски защищал и буду защищать ее интересы. К этому добавить ничего не могу!

— Ваш русский мундир несколько нам не интересен... Из Советского Союза мы вас никуда не выпустим, несомненно, вы умрете на родной земле! Да и вы нас, собственно говоря, как личность, мало интересуете... Нас интересуют те, кто стоит за вашей спиной — иностранная разведка. Зачем вам быть заживо похороненным в этом подвале, когда вы можете быть на свободе и пользоваться всеми ее благами?

Следователь молчит, затягивается папироской и пытливо смотрит на обвиняемого.

— Вчера и сегодня я сказал вам о себе всю правду. Делайте со мной всё, что хотите, но добавить к этому я

больше ничего не могу, — говорит обвиняемый, стараясь сохранить внешнее спокойствие.

— Хорошо... посмотрим... — зловеще сквозь зубы цедит следователь и снова берется за телефон.

— Выводного в 210! — приказывает он кому-то в трубку и, опустив ее на место, усиленно затягивается дымом.

В кабинет входят два конвоира.

— Отведите его в нулевую камеру!

...Человек, который смеется... Нет, не смеется, а моргает. Человек, который захотел умереть на родной земле. Ударами нагана ему повредили лицевой нерв на правой щеке: бровь моргает, а правый угол рта улыбается. Он имеет 10 лет концлагеря по подозрению в шпионаже в пользу Франции.

Отбывать срок наказания привезли его в Яйский лагерный пункт.

Шутники его называли:

«Человек, который моргает».

Во время ежовщины его, кажется, расстреляли.

## РОЖДЕСТВО В КОНЦЛАГЕРЕ

В этом лагере было очень много разных «религиозников», попавших сюда за свои убеждения. Одни вели себя осторожно, избегая конфликтов с начальством, другие же открыто и дерзновенно исповедывали свою веру, всем свидетельствуя о Боге. Особенно откровенно и смело вели себя монашки во главе с священником Березкиным. Они отказывались от всякой работы, сидели на голодном пайке, часто попадали в изолятор и наказывались всякими штрафами. Но как только исповедницы выходили из изолятора и появлялись в лагере, снова он оживал и становился полем их церковного благовестия. Особенно воодушевлялись монашки в дни великих праздников. И вот, в Рождественские дни они рассыпались по баракам и стали Христа славить (колядовать).

Одна из таких «колядниц» вошла в наш барак и, остановившись около дверей, восторженным голосом стала приветствовать всех с Рождеством Христовым. Это была женщина средних лет, с измученным, но радостным лицом и светлыми горящими глазами.

Не всё население барака сразу поняло ее приветствие, а некоторые из задних углов начали даже отпустить по ее адресу плоские шутки. Но, когда, после того, как кто-то ей сказал: «колядуй», она вдохновенным голосом начала петь тропарь Рождества, а затем и кондак его, весь барак сразу замолк и в помещении стало так тихо, что было слышно лишь пение монашки да тикание



ходиков на стене. И сразу все почувствовали, что стены барака куда-то исчезли, исчез куда-то лагпункт Сиблага НКВД, и каждый из нас на крыльях нахлынувших переживаний унесся далеко-далеко от этих «оазисов» смерти, (так зе-ка называли режимные лагпункты)... Каждый, склонив голову, вспоминал свое далекое детство... колядования под хатами... счастливые вечера в кругу родной семьи, когда так радостно встречались дни этих зимних праздников: Рождества, Нового Года, Крещения.

А голос монахини, бывшей крестьянской девушки, торжественно славил Христа:

«Рождество Твое, Христе, Боже наш,  
Воссия мирови свет разума,  
В нем бо звездам служащи  
Звездою учахуся.  
Тебе кланяися, Солнцу правды,  
И Тебе ведети с высоты востока,  
Господи, слава Тебе».

А когда, через несколько секунд, понеслись по бараку слова кондака: «Дева днесь», мой сосед по нарам вдруг хватил себя за седую голову и стал тихо рыдать... Второй мой сосед, старик инженер из-под Полтавы, тоже отвернулся к стене и стал тихо всхлипывать... Другие заключенные тоже с большим трудом сдерживали себя, чтобы не разрыдаться на весь барак.

А голос монахини продолжал славить Христа.

Пение затихло, монахиня облегченно и взволнованно вздохнула, еще раз окинула своим ликующим взглядом всех жильцов барака и стала поздравлять с праздником:

— Поздравляю всех вас, мученики Божьи, с великим праздником Рождества Христова!

Десятки придавленных горем и страхом голосов из всех углов барака взволнованно и дружно ответили:

— Спасибо, землячка, и вас поздравляем с праздником Рождества!

Казалось бы, что в этой колядке не было никакой

контрреволюции, однако сексоты уже успели донести куда надо.

Не успела монахиня выйти из барака, как на нее внезапно налетел лагерный охранник и арестовал. А через четверть часа все монахини были уже арестованы и под конвоем направлены за зону лагеря, где в земле был вырыт изолятор.

Идя туда, монахини бесстрашно продолжали петь Рождественские стихи: «Христос рождается, славите». Никакая сила чекистов и их прихвостней не могла сломить религиозное настроение исповедников Христа. Даже в нашем бараке, когда вышла из него монахиня, долго еще ощущалось это настроение и наступило мертвое молчание... Казалось, и ходики остановились, чтобы принять участие в безмолвных переживаниях советских каторжан. Даже некоторые из доходяг приподнялись на своих местах и с удивлением вслушивались.

И вдруг один из доходяг, собрав последние силы, сквозь слезы, выкрикнул:

— Смерть палачам!

И сразу все почувствовали себя снова заключенными, снова стали слышны ходики, и снова всем захотелось покорно нести свой непосильный крест. Этот выкрик перепугал обитателей барака, ибо все знали, что их ждет, если не будет обнаружен тот, кто посмел выкрикнуть эти страшные слова. Но несчастный доходяга из бывших интеллигентов, еще раз приподнялся на своем месте и окрепшим голосом добавил:

— Не бойтесь, товарищи и братья! Это я сказал и я за это сам отвечу. Проклятье кровавому Сталину и его банде!

Через два дня на доске приказов можно было прочесть приказ начальника лагеря: «За поповскую вылазку и демонстрацию мракобесия по баракам для заключенных, бывших монашек-зэ-ка (имя рек, статья и срок)

перевести в лагерный изолятор сроком на три месяца, с применением полной изоляции от остальных зэ-ка, с лишением переписки с родными в течение года и с обязательным выводом на работу под конвоем. Питание штрафное.

Зэ-ка (имя рек, статья и срок) за контрреволюционные выкрики в бараке номер 27 в присутствии всех его жильцов, тоже перевести в изолятор без вывода на работу, а дело его передать в Третий Отдел».

Через несколько дней бедный доходяга был уже мертв.

Так мы отпраздновали Рождество 1936 года.

## П А С Х А

Отбыв наказание и выйдя из изолятора, монашки снова очутились в лагере. Большинство из них опять отказалось от работы. Получая в день по 300 грамм хлеба без приварка, они находились в крайне тяжелом положении с питанием. Правда, некоторые сочувствовавшие им лагерники, с большим риском для себя (за оказанную монашкам помощь наказывали 5 годами дополнительного срока) помогали им, но эта помощь не могла быть достаточной.

Некоторые из монашек не работали только по воскресным дням, в рабочие же дни шли работать в швейные цеха, чтобы подкрепить себя и отказчиц-сестер. В числе этих монашек находилась и монашка тетя Маша, как ее называли заключенные, которую можно было часто видеть в женской бригаде «ручников» на пришивке пуговиц. Она легко выполняла свою норму, ловко работая руками и зубами, откусывая нитки от пришитых пуговиц. Она всегда вела беседы с другими рабочими и не страшилась никаких угроз...

— Для нас лагерь — как монастырь, — говорила она, — только в монастыре мы имели послушание от игуменьи, а здесь имеем от Самого Бога. То, что Ему угодно, мы делаем, а что Ему противно, мы не можем делать, если бы даже НКВД нас и расстреляло. На Рождество мы пошли славить Христа, потому что это было для Него и от Него, хотя за это нас и наказали изолятором... Мы им ничего плохого не творили, а только

прославили Христа. Они же очень рассерчали на нас и пригрозили смертью. Это нас не может остановить, ибо кто постыдится Его, того постыдится Сын Человеческий на Страшном суде Своем... А вот приближается святая Пасха, Светлое Христово Воскресение — разве мы сможем не воздать славу Воскресшему? Пусть наши выступления называют «поповской вылазкой» и чем угодно, но мы свое будем делать. Для этой цели мы и попали сюда.

Так говорила тетя Маша. И так случилось. И действительно, это была очень смелая «вылазка». Рано утром на первый день Пасхи, когда ночная смена еще не сменилась, а дневная только собиралась вставать с постели, — на лагерной площади, под самым носом у НКВД, вдруг раздалось громкое и стройное пенье «Христос воскрес из мертвых». Заключенные пробуждались и недоумевая спрашивали:

— Или мне снилось, или в самом деле поют церковные напевы?

А после обеда того же дня состоялось богослужение и под открытым небом, среди бараков, торжественно зазвучали пасхальные песнопения.

Рассвирепевшие энкаведисты внезапно окружили участвовавших в богослужении, схватили их и опять отправили в изолятор. Их вели парами, под усиленным конвоем, а они, радостно возбужденные, медленно двигались сквозь тысячную толпу лагерников и тихо продолжали петь.

Лагерники шумели и волновались. Некоторые смеялись над ними, другие удивлялись их бесстрашию и восхищались их пением, иные, снявши шапки, благоговеино провожали их одобрительными взорами. Иные — урки — сквернословили:

— У, фанатики, мракобесы, белогвардейцы!

— Святую крестьянскую Русь повел на муки большевизм! — говорили другие.

— Христианство входило в мир через Голгофу и сонмы мучеников и выйдет оно из него таким же путем! — высказывались третьи.

Многие, наблюдавшие это величественное шествие, плакали и быстро уходили в бараки.

А они, дерзновенные, шли медленно и радостно к воротам изолятора, продолжая петь слова о всепрощении и любви, о пасхальном ликовании и открытых дверях рая.

Дорогою ценою пришлось им заплатить за это: две недели предварительного пребывания в изоляторе с избиением и издевательством над священником, а затем им было предъявлено новое обвинение — в организации контрреволюционной группировки и поповско-кулацкой агитации среди лагерников.

После их отпустили в лагерь, и тетя Маша снова явилась в бригаду «ручников», измученная и потемневшая от голода и лишений, но попрежнему скромная, кроткая, улыбающаяся сияющими глазами.

— Самая высокая и благородная смерть — это смерть за Христа, — говорила она, — и мы должны молить Его, чтобы Он сподобил нас принять ее с достоинством и смирением.

— И вам не страшно, тетя Маша, так поступать? Ведь могут вас расстрелять? — задавали ей вопросы заключенные.

— Страшно, пока не переступили его, этот страх, а как только перешагнешь и решишься на всё, — тогда ничего не страшно!

Свои мысли она всегда облекала в простые и ясные предложения, пересыпала их церковно-славянскими словами, а рассказы свои насыщала живыми образами, глубоким смыслом и какой-то еле уловимой грустью.

---

...Годы, проведенные мною в советских тюрьмах и лагерях — это лучшее время в моей жизни. Очиститель-

ная сила страданий, которые мне пришлось пережить в узах, и наблюдения над соузниками моими открыло мне то, что было для меня недоступным и чего я не знал...

НКВД — это чистилище душ человеческих. Из него можно выйти или обновленным и переплавленным или сгоревшим и погибшим. Из многих тысяч узников, — с которыми мне пришлось встречаться в заключении, одни остались верны своим убеждениям, другие «перековывались» или духовно погибали.

Только урки и «перекованные», из которых НКВД вербовало себе сексотов и лагерный «актив», Пасхальное выступление монашек встретили враждебно и с насмешками. А какая это была Пасха! Если из-за одного православного пасхального Богослужения многие из сектантов возвращались снова в православие, то ради тех переживаний, которые мы удостоились испытать в первый день Пасхи в Яе, можно было бы еще не раз получить срок и стать заключенным Сиблага!

Находясь в советском заключении в качестве религиозного узника, можно постигнуть мистический смысл победы воскресшего Христа над силами зла.

Опыт — великая и страшная вещь. Великая — если он идет по истинному пути и страшная — если блуждает на распутьях. В скорби, в искушениях и душевных невзгодах можно было коснуться величайшей тайны Воскресения Христова и значения слова «Пасха». Разве вы не помните своего детского трепета и радостного ожидания этого великого дня? Разве вы никогда не переживали несказанного величия Пасхальной Заутрени?

Нет, если вы даже атеист, — вы не сможете пройти мимо этого творения человеческого духа. А если остановитесь и приобщитесь к нему, даже как обыкновенный зритель, память ваша никогда не забудет его.

В день Пасхи все «религиозники» нашего узилища были объединены одной радостью во Христе: старообрядческий епископ и православные священники, монаш-

ки и миряне, католики и лютеране, баптисты и пятидесятники. В едином порыве, в одном духовном торжестве прославляли Бога.

Человеческое осталось на воле. Божеское было с нами.

И не было в нашем лагере в этот день ни Пасхальной Заутрени с торжественным звоном колоколов, ни праздничных нарядов и пасхальных яств. Даже было больше работы и суеты, чем в обыкновенные дни. И больше, чем обычно, следило за «религиозниками» НКВД.

Но Пасха была, озаренная безмолвными сибирскими звездами и нашими скорбями! И присутствие среди нас Воскресшего!



## ИЗ СИБЛАГА — В ЗАПОЛЯРЬЕ

...8 июня 1936 года. Красноярский распред. Бараки все были переполнены, и нас, прибывших из Яйского лагпункта, разместили в наспех поставленных палатках, обнесенных колючей проволокой. Ждали отправки в Заполярье. Кормили удовлетворительно. Рядом в тупике стоял эшелон с женским этапом. Откуда он прибыл — никто не знал. Мы только знали, что и они, эти несчастные женщины, тоже будут отправлены в Заполярье.

Еще утром нас предупредили, что вечером будет посадка на баржи, а ночью караван должен будет оставить Красноярск. Но замешкались с какой-то дополнительной погрузкой и наш караван смог двинуться в путь только утром 9 июня.

Цвела черемуха и шел густой снег. С севера дул холодный ветер. Енисей, недавно очистившийся ото льда, медленно пробуждался от долгой сибирской спячки, и быстро наполнялся полою водою. Буксирный пароход «Красноярский рабочий» стал в голове каравана из 13 барж и лихтеров, вытянул их на середину реки и медленно начал набирать скорость. Развернулась панорама города и ближайших гор, и всё стало от нас удаляться...

— Прощай, Красноярск! Сколько на своем веку ты видел разных этапов? Сколько по твоим улицам прошло несчастных, обездоленных, гонимых? Но где же этот конец? Обманутый народ России ожидал его в 1917 году.

Тогда пели:

«Мы раздуем пожар мировой,  
Церкви и тюрьмы сравняем с землей!»

Церкви сравняли, а тюрьмы остались... И количество их увеличилось во много раз!

Раздался гудок с буксира, выбравшегося на речной простор и дающего полный ход всему каравану.

— Прощай, Красноярск! Увижу ли я тебя снова, когда пробьет мой «звонок» и я смогу возвращаться обратно на родину? Или меня завезут туда, где «Макар телят не пасет» и откуда возврата уже не будет?

Заклученные толпились на палубе барж и каждый думал о себе и своем горе, об оставленных где-то близких и родных, о будущей жизни в далеком Заполярье. И сжалось сердце, и глаза наполнились слезами.

Уже далеко за поворотом гористого берега я с ясностью почувствовал, что мне суждено будет еще раз увидеть его... И у меня на душе стало так радостно и спокойно, словно я плыл не за 59 параллель северной широты, а на какое-то торжество. Молитва — великая сила!

Нарушили тяжелое молчание и остальные зэ-ка. Появились песенники, — понеслись по Енисею песни, то весело-бодрящие, то грустные и печальные. Так караван наш вошел в бесконечную тайгу, сплошным массивом обрамлявшую оба берега. Иногда кое-где у подножья невысоких холмов показывались небольшие сибирские деревушки, сперва с церковками и часовенками, а потом и без них — два-три десятка рубленых изб. Но чем ниже мы спускались по реке, тем реже стали попадаться нам эти деревушки. Иногда появится на берегу несколько изб, махнет нам оттуда какое-то человеческое существо рукой — и снова тайга бесконечная и дремучая.

А вот на десятки, а может быть и на сотни километров следы от лесных пожаров... Енисей становится полноводнее и шире: два, три, пять километров, а караван всё плывет да плывет. Прошли сутки, другие, третьи. На баржах — люди, лошади, коровы, мешки с провиантом, ящики, тракторы, станки и штабели сена... А на

них — стайка воробьев: плывут вместе с нами в Заполярье. Без статей и сроков плывут. Днем они весело чирикали, а ночью спали в тюках сена. А на месте, в Дудинке, они устроятся в конюшне. Но они уже никогда не возвратятся в Красноярск... Может быть, они со временем тоже акклиматизируются и побелеют, как заполярные куропатки и совы, и станут заполярными воробьями. Но до самого октября 1939 года я видел их такими же, какими мы привезли их из Красноярска. Заключение их называли: «Добровольные арестанты».

Кажется, на четвертый день наш караван добрался до Енисейска. Кто-то с берега принес нам местную газетку. В ней писалось о нашем караване, что он везет в Карское море многочисленные артели рыбаков, а о нас заключенных ни слова.

Большевики не только умеют творить злодеяния, но и скрывать их от чужих глаз. Трехтысячный этап заключенных был превращен в «рыбаков» и под этой вывеской мы так и доплыли до Дудинки.

Под Туруханском мы вошли в область белых ночей, а за ним, спустя сутки, достигли, наконец, полярного круга.

Часов в 12 ночи вбегает в трюм один заключенный и кричит:

— Ребята, вставайте и выходите на палубу, посмотрите, как солнце начинает всходить с запада... Мы пересекали полярный круг. Где-то здесь в Енисей впадает речка Курейка, на которой есть небольшой поселок, носящий название этой речки. В поселке этом когда-то находился в ссылке Иосиф Джугашвили... Здесь он обзавелся семьей, нажил сына, а затем бежал из ссылки и от новой семьи.... Только спустя много времени, кажется, в начале тридцатых годов Сталин вспомнил о них. Сын уже был директором какого-то учреждения и имел свою семью, а мать — старуха — при сыне доживала свои дни. Они ответили ему, что в помощи его не нуж-

даются, и просили оставить их в покое. Когда они остались без него и влачили полуголодную жизнь, он не считал нужным вспомнить о них. А теперь они и без него обойдутся.

Сибиряки, лично знавшие этого сибирского сталинского сына, передавали мне, что он очень похож на своего папашу, которого ненавидит всей душой.

Приближаясь к Игарке, наш караван должен был пройти пороги Два Брата, через которые буксиру пришлось перетаскивать караван по одной барже. В этом месте Енисей суживался до 100 метров, и между двух каменных утесов быстро падал вниз. Караван благополучно перебрался через пороги и снова вышел на величественную ширь пятой в мире по величине реки.

Потом оказалось, что из одной баржи, во время перехода порогов, бежало несколько человек. Один или два выплыли на берег и скрылись в тайге, а остальных, находившихся еще в воде, конвой перестрелял. Мы уже находились в области полярного дня, что очень осложняло всякие побеги, да еще с каравана.

В Игарке постояли недолго и через несколько часов были снова на необъятной ширине разлившегося Енисея.

Нагнали плывший большими массами лед. На берегу местами лежали полосы снега. Тайга кончилась и началась лесо-тундра. Воздух становился холоднее, моросил густой мелкий дождь. Перед нами вдали показались небольшие горы, а затем и селение Дудинка.

На 13 день нашего плавания буксир «Красноярский рабочий» дал длинный гудок и стал подавать караван к берегу.

Все заключенные высыпали на палубу и унылыми взорами вглядывались в неведомую тундру, покрытую туманом и белыми оазисами вечных снегов. На берегу ютился небольшой поселок в 50-60 жалких лачужек, на восточной окраине его — здание бывшей церкви, без купола и креста и один большой деревянный дом —

здание местного Совета. Да внизу, возле самой реки, небольшая электростанция, выстроенная год тому назад первой партией заключенных... Они теперь все стояли на берегу, некоторые выбрались на ледяную гору, воздвигнутую из льдин напором воды, и радостными криками приветствовали нас. Все они были бесконвойными и свободно передвигались по Дудинскому берегу.

Урки удивлялись:

— Неужели без конвоя! Смотри, у них нет никакого лагеря с попками да с зоной. Вот пойдет житуха на большой!

— Не радуйся, псих, тундра будет тебя стеречь похлеще лягавых. Куда убежишь? — Кругом одна тундра. До Игарки 300 километров, до Красноярска 2300, а до Харькова тысяч 10 будет!

— Вот это, братва, так заехали мы с вами в гиблое место! Капут нам тут. Прощай воля и «зеленый прокурор».

23 июня наш этап начали идеологически обрабатывать. На нашу баржу, где большинство были инженерно-технические работники, явился «воспитатель», тоже заключенный бытовик из бывших чекистов, и повел беседу.

— Так вот, граждане, — говорил он, — мы находимся на 69 параллели, в 300 километрах на север от Игарки. Вокруг нас, как видите, необъятная тундра, покрытая многочисленными небольшими озерками, мхами, торфяниками и карликовыми деревьями. Вот березка, скажем, толщиной с карандаш, а высотой чуть более метра — имеет 200-300-летний возраст... Да и расти она больше не может, т. к. летний период тянется здесь всего 5-6 недель, да и то дождливых. Как вы сами видите, зима еще сегодня не совсем кончилась, а в начале августа уже появляются первые заморозки.

Зимы здесь бывают крепенькие, морозы доходят до 60°, пурга срывается такая, что Дудинку заносит, над двухэтажным домом Советов по снегу дорогу устроили...

В особенности страшна «черная пурга» в трехмесячную полярную ночь. Прошлой зимой пурга эта замела в тундре наших трех человек с трактором. Ребята погибли, а трактор обнаружили только летом. Летом здесь полярный трехмесячный день, а зимой такая же трехмесячная полярная ночь с северным сиянием. Первый восход солнца, после полярной ночи тунгузы празднуют здесь, как у нас когда-то праздновали Пасху...

Суровая здесь природа, но и страшно богатая своими недрами. В Норильских горах обнаружены залежи полиметаллической руды, серебро, золото, платина. И рядом же в соседней горе — громадные пласты угля... А дальше — еще горы — «золотые», «платиновые», «никелевые» и «серебряные». И вот партия и правительство постановили у подножья этих гор выстроить полиметаллический комбинат и город Норильск, связав его с Дудинским портом первой в мире заполярной железной дорогой. На эту работу нас всех сюда и привезли. Нам дается красноармейское питание, плюс заполярный витаминозный паек, возможность пользоваться лагерным ларьком, теплое первосрочное обмундирование, бесконвойное хождение на территории строительства, летом обычная почтовая связь с родиной, а зимой гидропланы и радио. Честным своим трудом мы должны искупить нашу вину перед советской страной и возвратиться в социалистическое общество ударниками и героями труда, а, может быть, и орденосцами...

Не бойтесь никаких трудностей, ни пурги, ни морозов. Нет таких крепостей, которых бы не сумели взять большевики. Помните, что этой стройкой непосредственно будет руководить сам товарищ Сталин! — закончил «воспитатель» свою беседу и неожиданно обратился с вопросом к плохо слушавшему его молодому парню — урке.

— Вы, гражданин, какую имеете специальность?

— Токарь, — спокойно ответил парень.

— Токарь? По дереву или по металлу?

— По пайкам, — улыбнулся урка и звонко чмокнул губами.

Баржа загоготала и загудела. «Воспитатель» смутился, записал себе в блокнот фамилию шутника и быстро сошел на берег. Ему вслед понеслись восклицания урок.

— От работы кони дохнут!

— Работа дураков любит!

— Подумаешь, паразит, сам за портфель скорее ухватился, а нас агитировать пришел — комбинат строить! Мы ему настроим — жди!

— Нужно, брат, больше напирать на это, чем на это! — и говоривший показал пальцами сперва на мышцы рук, а затем на горло.

— Пойдем, Кацо, в тундру искать яиц гусиных; говорят, можно набрать их тысячи, а молодых гусят руками ловят... Здесь птица дурная — политграмоты не проходила — не пугливая. В озерах рыбы — нет спасу, баграми вытаскивают на берег, по пуду штучка. Во лафа, Кацо!

— Микинтош, пойдем скорее на берег, там наша братва мертвецов за ноги из кладбища вытаскивает — ценностей ищут. Памятники и кресты уже все поразбивали. Здесь хоронят не в могилах, а под пластами торфа, потому вечная мерзлота, — ну, наши и взбудоражили всех покойников.

Потом мне пришлось побывать на этом бывшем кладбище. Действительно, кресты, памятники, решетки — всё было изломано, побито и осквернено... Бугорки торфяные, под которыми лежали останки похороненных, все были разрыты, кости разбросаны по кладбищу и загажены человеческими испражнениями. И эти безобразия и кощунства никто не только не пресекал, но они даже поощрялись разными «воспитателями», безбожниками из КВЧ и УРЧ. Этому не приходилось удивляться,

так как такие же разрушения и осквернения церквей и кладбищ имели место по всему Советскому Союзу.

Не могу не вспомнить про один случай, как в 1932 г., на Кубани, из одной станицы, после закрытия и разгрома в ней безбожниками храма, в районный центр ехали три арбы, нагруженные церковной утварью: иконами, хоругвями, крестами. На передней подводе, что везла изломанный иконостас, покрытый полотнищами хоругвей, сидел колхозный подросток лет 13, и под скрип арбы насвистывал какую-то модную советскую частушку.

Я знал, откуда и куда идут подводы и что они везут, но мне хотелось знать, как на мой вопрос будет реагировать этот мальчуган. Поравнявшись с ним, я спросил у него:

— Что это вы везете на подводах?

— До районного архиву Иисуса Христа везем сдавать! — смеясь, ответил мне подросток и стегнул кнутом по полотнищам хоругви.

Его ответ меня поразил. Я никогда не мог предполагать, что мальчуган из глухой кубанской станицы с такой предельной принципиальной ясностью мог сформулировать отношение большевиков к религии и всей христианской культуре.

И он не только вез «Иисуса Христа» в районный архив сдавать, но и продолжал, смеясь, хлестать Его своим кнутом. Он выполнял «социальный заказ» Кремля! И выполнял так, как та старушка, которая принесла вязанку дров, чтобы сжечь Яна Гуса. Но ни на Кубани — этому подростку, ни в Дудинке — этой орде громил, разорявших и осквернявших храмы, кладбища и всё святое в душе человеческой, не подходили слова Гуса: «О, святая простота!». Это совершенно другое явление — мятежное и грозное.



## 27 И ШЕСТЬ НУЛЕЙ

Его судили за какую-то железнодорожную катастрофу, в которой он не был повинен, дали десять лет и привезли в Заполярье. Здесь ему поручили руководить работой бревнотаски — громаднейшего транспортера, устроенного на стометровой эстакаде, спускавшейся в реку. Хвойный лес плотами сплавлялся с верховья и притоков Енисея к Дудинке, затем «кварталами» подгонялся по воде к бревнотаске и здесь по одному бревну направлялся на ленту, которая подхватывала его снизу несколькими парами специальных зубьев и тащила вверх. В одну и другую сторону от бревнотаски были проложены длинные покаты, по которым скатывались бревна и укладывались по стандартам в штабели. Двести тысяч кубометров строительного леса нужно было «выкачать» из реки до наступления морозов, иначе вмерзнет в лед и весной уйдет в Карское море.

Полярный день, длившийся здесь около 100 суток, приближался к своему «полдню», солнце кружилось над головой, необозримая тундра быстро одевалась в свои пестрые наряды, перелетные птицы торопились с своими выводками, а люди спешили с сезонными работами.

Не было ни сумерек, ни луны, ни звезд, работали по-сменно, спали по часам. Бригады лагерников с баграми, ломами и специальными проводочными кольцами, одетые в накомарники, рассыпались по бревнотаске и в течение десяти часов вели страшную напряженную «борьбу» за выполнение плана.

Бревнотаска быстро обрастала покатами и штабелями, и сверху казалась каким-то грозным чудовищем, которое ползло из реки на берег. Оно беспрерывно стучало, гремело, трещало. И только в часы перерыва электромотор останавливался и чудовище затихало. Иногда бревна соскальзывали с поката и в беспорядке, с треском и грохотом падали вниз на землю. Тогда на них налетали люди, и яростно по команде кричали:

— Раз-два-взяли! Е-е-е-еще взяли! Раз-два — двинули! Бревно кинули!

И бревна послушно снова ложились на покат, вздрагивали, скрипели и опять с гулом бежали к штабелям.

Иногда среди бревен время от времени вспыхивала украинская песня, озаряла утомленные лица рабочих, рассказывая им об их осиротелых семьях, далекой родине и похищенной у них свободе...

Но бревна продолжали катиться, песня вынужденно обрывалась, и крылатое чудовище, казалось, еще ожесточеннее ползло, гремело и трещало.

Инженер Костин несколько раз в смену обходил свои «владения», следил за ходом работы на бревнотаске и все время вполголоса повторял про себя одно и то же:

— 27 и шесть нулей! 27 и шесть нулей!

Однажды он сказал своему помощнику:

— С таким народом можно «выкачать» из реки не только лес, но и воду. Как ужасно живуч наш человек! Ему нацепили 10 лет, оторвали от семьи, загнали в эту заполярную пустыню, а он песни поет! Только наш народ и может творить такие чудеса. Загоните сюда европейцев, и всем им крышка здесь будет... А мы вот собираемся освоить тундру и выстроить в ней полиметаллический комбинат. Разве нам не хватает места на материке, что нас ведьмы притащили сюда? Значит, некуда уже девать арестованных...

— С горя орут, — печально сказал помощник. — Умирать никому не хочется, а жить тяжело, вот и поют. Если бы можно было достать «горючего», то напивались бы, а так волками воют, — песней развлекаются... Лучше не заниматься этими анализами, а то не выдержит никакая гайка. Самое лучшее лекарство от всякой болезни, это не думать о ней... Махорин думал, думал, да и повесился в уборной, а я хочу жить... Семья на воле осталась, шесть лет как-нибудь отбудем, может быть, по зачетам снимут 2-3 года, а там амнистия какая-нибудь подвернется, — так и звонок зазвонит.

— У меня эта мудрость никак не выходит, — снова заговорил Костин, — не получается она у меня... Вы только внимательно подумайте: 27 и шесть нулей!

— Я вас не понимаю, — перебил его помощник, — что значат эти цифры, которые вы везде повторяете. Что они значат?

— Сейчас вы меня, уважаемый, поймете, что они значат. Когда в 1906 году, будучи еще студентом политехникума, я от имени социал-демократов делал политический доклад в Киевском депо и объявил рабочим тогдашнюю цифру общего количества репрессированных царизмом в 500 тысяч человек, собрание от неожиданности ахнуло и заревело бурным протестом. Эта цифра так поразила их, что один старик-кузнец, помню, подошел ко мне вплотную, большой складкой сдвинул свои брови и как-то особенно испытующе спросил: «Товарищ студент, неужели вы правду говорите, что 500 тысяч?». Я поклялся ему и всему собранию, поклялся честью своего студенческого мундира, что эта цифра точно проверена и соответствует действительности. Кузнец выслушал меня, быстро сорвал с себя шапку, бросил на стол, сжал кулаки и грозно простонал, скрипя зубами: «Смерть кровавому Николаю!». А что поднялось в собрании? — Ужас! Никогда я не забуду этого гнева и

возмущения! Это было тридцать лет тому назад. Да, да, уважаемый, при кровавом Николае! 500 тысяч бедных страдальцев!

А по секретным данным НКВД за годы «бескровной» и до первого января 1935 года было подвергнуто репрессиям советских граждан 27 и шесть нулей, т. е. 27 миллионов человек!

Так те 500 тысяч хоть что-то там делали, бунтовали, шли против царизма, а эти... Более 10 миллионов закулачено и выслано одних честных наших кормильцев — крестьян-хлеборобов...

А остальные миллионы, если разобрать их дела при свете любого европейского, американского или азиатского права, — тоже невинные жертвы большевистских экспериментов. А? 27 и шесть нулей! И никакого тебе гнева и протеста нет! Наоборот! Они даже сами себя охраняют... При «кровавом» царизме две или три сотни арестантов охранялись командой из 40-50 человек, и всё-таки совершались побеги. А у нас, например, в лагере 13 тысяч, и их охраняют всего 20 человек вольнонаемных, а остальные охранники на вербованы из самих же заключенных бытовиков. И эти последние бдительнее охраняют нас, нежели профессиональные и наемные держиморды. Вот как тонко устроена система — а? И никакого вам бунта и гневного кузнеца с сжатыми кулаками. И никакой Толстой не вопит: «Не могу молчать»! Даже песни поют! Соц. соревнования устраивают... Борьба за переходящее красное знамя... Нет, я не могу! Эта хитрая штука никак не вкладывается в мои мозговые клетки, а когда я пытался впихнуть ее туда, немедленно же ощущал, как сознание мое давало опасный крен... 27 и шесть нулей! Это ведь почти целая Польша! Пусть половина из них как-нибудь выкрутилась из-под опеки ГПУ, а другая тянет лямку, потихонечку переселяясь в звездные миры, — а? 27 и шесть нулей!

— И что же вы, Костин, предлагаете, исходя из этих цифр? — глухо спросил помощник.

— Что я предлагаю? — переспросил Костин и неожиданно выпалил: — Если бы мне попался надежный компаньон, я сорвался бы из этого гиблого места. Всё равно: десятки своей я здесь не выживу, а умирать, так умирать с музыкой!

И он взглянул на своего помощника, собиравшегося заворачивать «козью ножку».

Уклоняясь от прямого ответа, помощник, закуривая и дымя цыгаркой, стал рассказывать об участившихся побегах из лагеря.

— Вчера из Дудинского лагпункта тоже ушло несколько человек зэ-ка. Воспользовавшись туманной погодой, заготовили продуктов и ушли. Ушли не на юг, а на север к Ледовитому океану. Дошли до Усть-Енисейского порта и напоролась на засаду. Их привели обратно. Посадили в «кандею» и готовят им дополнительных 3 года. У них оказался бинокль, компас и две сшитых простыни, на которых мазутом выведены 3 буквы «SOS». На допросе они сознались в том, что собирались сигнализировать какому-нибудь иностранному пароходу, если бы заметили его в море!.. В крайнем случае, имели намерение присоединиться к тунгусам, обжиться у них и дожить до зимы. А потом уж с их помощью, пробираться к Уралу или на юг. Да, тундра надежная охрана! Летом комары да мошкара заедает, а зимой — пурга с морозами. А ведь только до Игарки 300 километров, а за нею еще две тысячи до Красноярска. При этом еще не забывайте, что вы политический... Как вам известно, на 4-й дистанции сбежала целая бригада землекопов, захватив с собою лошадь и все продукты питания из кладовой дистанции. Если их поймают, отделаются каждый 3 годами и несколькими месяцами изолятора. А если бы мы с вами учинили это дело — верная шлепка!

В бревнах снова запели и песня опять стала звать к берегам далекого Днепра.

— Как хотите, а я дошел «до ручки», — после некоторого молчания сказал Костин. — Мне пятьдесят три года. Порох в пороховницах еще есть, и я попробую познакомиться с «зеленым прокурором», а вам оставляю блестящую возможность добиться получения переходящей красной тряпки... Можете на меня доносить, можете не доносить, — дело вашей совести, но забыть деповский гнев я не могу... 27 и шесть нулей! «Кровавый Николай» и «бескровная» революция!

Помощник тяжело сопел и молчал.

Песня снова оборвалась и затихла. А крылатое чудовище попрежнему рычало и ползло на берег.

...Через несколько суток инженер Костин исчез. По бревнотаске ходил один помощник и мрачно бормотал:

— 27 и шесть нулей. 27 и шесть нулей!

---

Бригада землекопов, сбежавшая с 4-й дистанции, состояла из 24 человек уголовников, главным образом, урок, молодых и здоровых ребят, от 18 до 30 лет. Почти две недели они уже находились в пути, но больше 200 километров не могли сделать, так как всё время приходилось обходить бесконечное количество малых и больших озер, встречавшихся им на пути их следования, а также переправляться через речки и реки, впадавшие в Енисей. Эти обходы и переправы поглощали очень много и времени и сил, что не могло не отражаться на общем положении беглецов. Захваченные из кладовой продукты питания давно уже были съедены, была уже съедена и лошадь, тащившая на себе в течение первой недели вьюки с продуктами, и последние 2 или 3 дня беглецы вынуждены были питаться птичьими яйцами, маленькими гусятами и ры-

бой, которую приходилось ловить в озерах. Это еще больше стало отнимать у них времени и бежавшие еле-еле продвигались вперед, делая в сутки не более 10 километров. Более опытные из них утверждали, что еще неделя — и они очутятся на восток от Игарки, где смогут в лесо-тундре передохнуть, наловить и навялить в дорогу рыбы, а также, быть может, удастся заглянуть в самый городишко и раздобыть спичек, курева, хлеба и соли.

Измученные, голодные и обессиленные, беглецы с большим трудом добрались до какой-то большой и бурной реки и расположились на отдых. Чтобы преодолеть это новое и неожиданное препятствие, нужно было срубить несколько штук толстых деревьев, распилить их на бревна, притащить к месту переправы, связать плот, а затем уже на канатах и жердях переправляться. Эта новая работа должна была снова отнять у них много времени и последние физические силы. Двое из беглецов уже хворали и нуждались в постоянной помощи, а остальные еле держались на ногах. И о немедленной переправе на тот берег реки никто и не думал. Все разбрелись по сухим отложениям торфа и мха и погрузились в тяжелый сон.

Сколько они проспали так, неизвестно, но, когда проснулись, друг друга не узнали. Несмотря на имевшиеся у них маски, лица и руки опухли, — от укусов комаров и мошкары.

На общем совете было решено через реку не переправляться, а идти по берегу вниз до самого Енисея. Может они набредут на рыбаков или на какое-нибудь стойбище тунгусов. Может быть, встретится русское селение... А может быть, река разольется по широкому руслу и они смогут перейти ее в брод.

Подкрепивши себя небольшими порциями свежепойманной рыбы, беглецы, еле передвигая ноги, медленно стали спускаться вниз по течению. Через не-

сколько километров они наткнулись на два разлагавшиеся трупа зэ-ка, ранней весной сбежавших с 5-й дистанции. Их опознали, обшарили у них карманы и сумки, но ничего съестного не нашли. Махорки тоже не было. Пустые котелки валялись на берегу. Всем было понятно, что несчастные умерли от истощения.

Как долго они шли и сколько сделали километров, никто сказать не мог, но после долгих часов томительного путешествия им показалось вдруг, что в ближайших кустах что-то неподвижно чернеет. Они подошли ближе и увидели спящего человека в накомарнике и лагерной одежде, и стали его будить.

Спавшим оказался инженер Костин. Отобрав у него несколько килограммов жиров, сахару и сухарей, урки немедленно съели и, не насытившись, предложили ему стать их первой жертвой.

— Всё равно, батя, ты уже нажился на свете, срок у тебя великоват, статья паскудная — давай мы тебя слопаем, — предложили Костину урки и серьезно стали его обступать.

С большим трудом удалось их успокоить уверениями, что он выведет их к Енисею и спасет от голодной смерти.

Подкрепившись немного отобранными у Костина продуктами, урки согласились следовать за ним и через несколько часов все беглецы очутились на патрульном посту недалеко от Енисея. Несколько рыбачьих домиков и землянок обозначали какое-то никому неведомое селение, находившееся в нескольких десятках километров от Игарки.

Они были задержаны и препровождены обратно в Дудинку.

Направляясь под конвоем в изолятор, Костин издали поглядывал на грохочущую бревнотаску и тихо ворчал:

— 27 и шесть нулей!



Прошел год. Свирепый разгул ежовского террора докатился и до Норильлага. Были сняты со всех должностей, взяты в подконвойные бараки и изолированы от остальных заключенных почти все политические. Их плохо кормили, посылали на самые тяжелые работы и еженедельно выбирали из среды их по 20-30 человек «тяжеловесов», гнали в тундру и там расстреливали. Таким порядком было уничтожено около 700 человек инженеров, техников, врачей, педагогов, бывших колхозников, рабочих, духовенства...

Попал в эти бараки и Костин. Он очень одряхлел и осунулся, оброс седыми волосами, непрерывно болел, стонал и кашлял. В конце навигации к нему из Харькова приехала жена с 14-летней дочерью и стала добиваться разрешения на свидание с ним.

После нескольких дней безуспешных хлопот 3-й отдел в свидании ей отказал, и выпроводил с территории лагеря. Несчастную женщину, прибывшую к мужу за 10 тысяч километров, эта чекистская жестокость так потрясла, что она тут же, у лагерных ворот, свалилась и умерла от разрыва сердца.

Оставшейся сироте один из комендантских негодяев, некто Волков, пообещал устроить свидание с отцом, если она отдастся ему на одну ночь. А когда утром девочка потребовала, чтобы ей выдали обещанный пропуск, обманутую схватили, куда-то утащили и больше ее никто не видел ни в лагере, ни в Дудинке...

А спустя несколько месяцев был расстрелян и ее несчастный отец инженер Костин.

## ШУТЦБУНДОВЕЦ

В лагере его звали Вильгельм Вильгельмович не только потому, что он имел совершенно седую голову и почти белые, спускавшиеся книзу усы, но еще и потому, что он вел себя очень сдержанно, с достоинством, говорил на нескольких европейских языках и, наконец, находясь в заключении, за год совершил два смелых побега. Хотя последние и не удались ему, и он поплатился дополнительными тремя годами заключения, но авторитет его среди лагерников, в особенности среди уголовников, возрос до того, что его возвели в герои.

Из его рассказов нам было известно, что он родился в Вене, учился в Гамбургской ремесленной школе; где-то в Германии имел двух сестер, с которыми вел переписку, в свое время исходил пешком всю Западную Европу; в начале 20-х годов в австрийских Альпах состоял членом сельскохозяйственной коммуны имени Л. Толстого и, когда с наступлением зимних холодов, все толстовцы из коммуны разбежались, он последний ушел из нее, выпустив в горы единственного оставшегося в хозяйстве козла.

Потом он очутился в рядах шутцбунда, после венского восстания некоторое время сидел в австрийской тюрьме, а затем, вместе с другими шутцбундовцами, приехал в СССР.

О своих подвигах в «отечестве трудящихся всех стран» он особенно не распространялся, но, судя по

всему, оно, это самое «отечество», въелось ему в печёнки.

Убийство Кирова застало его в Сальских степях в качестве какого-то заготовителя. В кругу своих знакомых и товарищей по работе он осторожно высказал некое мнение о Кирове, за что и угодил на 5 лет в концлагерь.

После первого неудавшегося побега из Сиблага ему дали дополнительных три года и перевезли в Заполярье, где он попытался еще один раз «сорваться». Побродив около недели по тундре, он съел все продукты и вынужден был вернуться обратно в лагерь. Это избавило его от нового срока, но привело в изолятор, где он и пробыл около трех месяцев.

В свободные от работы часы он любил поговорить и послушать других, и часто пускался в откровенные беседы со своими коллегами по изолятору. Он не падал духом и обещал, что всё равно из лагеря сбежит!

СССР он называл концлагерем в первой степени, самые лагеря — местом заключения в квадрате, а лагерные изоляторы — в кубе.

За несколько недель до своего расстрела он говорил своим соседям:

— Своей пропагандой большевики отравили меня, а то, что я пережил в СССР и увидел собственными глазами, — исцелило меня. Большевистская пропаганда — это гипноз, которым одурманивают массу. Я помню случай, когда в Берлине на одном коммунистическом собрании престарелый пастор так увлекся теориями коммунизма, что вышел на трибуну и сквозь слезы заявил, что он всю жизнь заблуждался, и только в конце своих напрасно прожитых дней почувствовал, что правда на стороне большевиков, и попросил принять его в члены компартии. А я стоял в зале и думал о нем: «С каким трудом приходится ему принимать нашу доктрину и как поздно он ее понял... А вот я и

миллионы мне подобных можем гордиться, что мы чуть ли не родились коммунистами. Что бы я теперь сказал ему, несчастному пастору? Может быть, и он опомнится когда-нибудь, если не умер еще, да будет поздно. Я считаю единственным лечением от большевизма, — чтобы весь мировой пролетариат и всех сторонников его обязательно пропустить через СССР, как пропустили меня и мне подобных. Собрать всех изо всех стран и направить в СССР. И я уверен, что через некоторое время почти все стали бы врагами коммунизма!

Большевизм подобен некоторым наркотикам: от малых доз человек впадает в восторг, а от больших — появляется рвота и отвращение к ним. Большевиков можно излечить только большевизмом, его «большими дозами», т. е. пребыванием в СССР — этой подлинной тюрьме народа.

## НИЩЕНКА

Ранней весной 1922 года в одной из Кубанских станиц появилась нищенка, лет 50. Откуда она шла и куда направлялась, никто не знал, да вряд ли кто и интересовался ею, ободранной и забрызганной грязью. В рваном заплатанном пальто, с какой-то серой тряпкой на голове, в парусиновых истрепанных туфлях, она медленно шлепала по жидкой мартовской грязи, несколько раз окинула себя взглядом, почистила ноги и, взойдя по ступенькам крыльца к двери, нерешительно постучала. Старухе открыли и предложили войти на кухню. Она медленно переступила порог, вошла в коридор, затем в кухню и, остановившись у дверей, начала постепенно разглядывать помещение.

Учительница с недоумением смотрела на вошедшую нищенку и, видя ее смущенное и измученное лицо, спросила:

— Что вам, бабушка, нужно?

Та вздохнула и чуть слышным голосом ответила:

— Извините меня, пожалуйста, что я побеспокоила вас своим посещением. Первый раз в жизни мне приходится обращаться к людям за помощью. Надеюсь, вы меня поймете и простите...

Учительница внимательно слушала гостью и еще с большим недоумением стала рассматривать ее.

Нищенка продолжала:

— Второй день я ничего не ела... Если можете, голубчик, дайте мне чего-нибудь поесть.

Учительница приветливо улыбнулась гостье, предложила ей сесть за стол, а сама стала доставать из печки обед.

— Будете есть наш борщ?

— Я же говорю вам: чего-нибудь...

Нищенка сидела за столом и очень медленно и тихо ела. Учительница сидела спиной к печке и с интересом следила за поведением гостьи. Затем, погодя, с любопытством спросила:

— Откуда же и куда идете, бабушка?

— Иду я из Екатеринодара, а куда иду — не знаю, голубчик. Хочу уйти от себя и от своего прошлого, и вот никак не могу уйти. Извините меня, хозяйюшка, мне очень тяжело говорить об этом... не спрашивайте меня... Вы интеллигентный человек, должны понять сами... я вам вполне верю, — говорила она тихим голосом, продолжая есть. — Спасибо вам, голубчик, за вашу помощь. Я никогда не забуду вашей доброты... Может быть, мы когда-нибудь встретимся с вами при другой обстановке... А это кто же у вас учится играть? — неожиданно спросила нищенка, прислушиваясь к звукам пианино, долетавшим из другого помещения.

— Это моя дочь, — ответила учительница.

— На гаммах сидит еще девочка? — вновь спросила нищенка.

— А вы разве, бабушка, знакомы с музыкой? — удивилась учительница.

— Да, когда-то и мы учились играть! — ответила нищенка, останавливаясь на каждом слове.

— Вот как! — воскликнула хозяйка. — Может быть, вы посмотрите на ее упражнения? У нас в станице нет никого, кто бы помог ей. А муж и сам-то дальше гамм не знает.

Через несколько минут нищенка проверяла девочку и показывала ей следующие упражнения.

— Девочка способная, но инструмент сильно расстроен, — определила гостя и сама села за пианино.

— Гражданка, бабушка, сыграйте что-нибудь из своего, — попросила учительница.

— Из своего? — переспросила гостя. — Я хочу уйти от «своего», а вы хотите... Впрочем, всё равно. Для вас и вашей Олечки сыграю.

Она обвела руками лицо, вздохнула и тряхнув головой, словно отмахиваясь от какой-то назойливой мысли, медленно и красиво опустила руки на клавиши.

Только теперь, рассматривая профиль гостя, учительница смогла заметить следы былой красоты и тонкие морщины на интеллигентном лице. В кухне оно выражало чрезмерную усталость и, возможно, какие-нибудь тяжелые испытания, а здесь, возле пианино, лицо у неё сразу стало одухотворенным, засияло внутренним светом, губы чуть-чуть шевелились.

Еще раз тряхнув головой, гостя взяла несколько предварительных аккордов и, устремив свой взор перед собой, заиграла.

Пораженные игрой ее, стояли рядом учительница с дочкой, через минуту вбежал в комнату и подошел к ним на носках и сам учитель, затем прибежали еще две — соседки учительницы, находившиеся за перегородкой. А она, не обращая на них никакого внимания, всё больше и больше увлекалась игрой, уходила в свой, только ей одной ведомый мир.

Все стояли, как очарованные и, затаив дыхание, с изумлением слушали игру.

Потом, в последний раз, задрожали клавиши — и музыка оборвалась...

Наступила тишина. Все молчали. Нищенка сидела с закрытыми глазами. Из-под дрожащих ресниц скатывались по лицу две слезы...

Затем она тяжело вздохнула, снова тряхнула головой и встала.

— Что же это вы играли, хоть скажите нам? — робко спросила ошеломленная игрой жена учителя. — Какая чудная и страшная вещь!

Нищенка словно очнулась от волшебных сновидений, обвела всех глазами и тихо ответила:

— Да, это страшная вещь! Страшнее жизни и смерти! Это музыка без названия... моя импровизация.

И быстро поблагодарив хозяина и хозяйку за пищу, нищенка поклонилась и вышла. На крыльце она тихонько сказала учительнице:

— Сегодня обо мне никому не рассказывайте, а завтра я буду далеко отсюда... Еще раз спасибо за всё. Извините и прощайте!

И она ушла.

Оставшиеся изумленно спрашивали у хозяйки:

— Кто она? Кто она?

---

Прошло 14 лет.

На больничной койке Дудинского лагпункта умирала 65-летняя старуха. С большим трудом выговаривая слова, она подозвала к себе заключенную сестру Олю и сказала ей:

— Голубчик мой! Я умираю... В этом году ты, вероятно, будешь на свободе... В Краснодаре, найди, пожалуйста, моих знакомых, на улице Коминтерна, № 25... у них свой собственный домишко... Они живут одни... Передай им, голубчик, от меня, последнее прости... Скажешь им, что... Светланова... была арестована в 1927 году... с 10 годами побывала в 3-х лагерях... Скажи им, что я...

Старуха остановилась и умолкла. Лицо ее неесте-



ственно улыбнулось, глаза уперлись в одну точку, дыхание оборвалось... Через несколько минут она снова зашевелилась, взглянув на сестру, коротко вздохнула, потянулась и затихла...

Бывшая артистка Императорских театров скончалась.

Оля смотрела на умершую и, как в забытом сне, пыталась припомнить это странно знакомое ей лицо. И она вспомнила, осторожно перекрестилась и заплакала.

## НОВЫЙ ГОД В ТУНДРЕ

...На дворе 40-градусный мороз и необозримые дали снежной пустыни!

— Тундра!

Холодно. Ледяной сон полярной ночи окутал белым безмолвием спящую безбрежность тундры и никто не в силах разбудить ее холодного оцепенения. Даже в дни короткого лета, когда незаходящее солнце непрерывными спиралями кружится над ее туманами и болотами, даже летом неподвижны полукилометровые глубины вечной мерзлоты и не отогревается их ледяное сердце. Проходят тысячелетия, возникают и уничтожаются государства и народы, а эта геологическая летаргия Арктики продолжается.

Тихо над ее холодными просторами.

Огненными кругами радуги обрамлены ее владения. Кажется, будто и она чувствует этот заполярный холод и дрожат ее лучи от леденящего холодного дыхания полюса.

Вот световые полотнища расплываются и угасают в бледно-молочной дымке, чтобы через несколько минут вновь вспыхнуть еще более яркими сполохами. А иногда сполохи гасли надолго. Тогда над горизонтом оставался отблеск света, словно отражение далеких огней большого города.

И вспоминалась легенда туземцев о том, что на самом крайнем севере, куда невозможно доехать ни на оленях, ни на собаках, куда не могли долететь на ма-

шинах своих даже европейцы и погибли во льдах полярного океана, — что на этом далеком конце мира находится сказочная земля, а на ней обитают счастливые люди, не ведающие ни холода, ни жары, ни концлагерей и осатанелых чекистов. Этот эскимосский Китежград вечно уходит от злых людей, оставляя в небе следы счастливой жизни в виде отблесков потухающей игры Северного Сияния...

...Холодно и безмолвно. Ртуть падает ниже 40 градусов. Дыхание полюса становится еще ощутительнее и гонит человека в бараки.

Измученные каторжным трудом и гнетом заключения, несчастные люди, плотно прижавшись друг к другу и к нарам, крепко спят.

Ходики показывают двенадцать. Но заключенным не до встречи Нового года. Почти все спят сном тяжело уставших людей. В половине пятого утра их подымут, накормят «баландой» и погонят на тяжелые земляные работы по строительству Норильского полиметаллического комбината. И будут они на 50-градусном морозе, в темноте полярной ночи, при факелах, долбить вечную мерзлоту, от которой под страшные проклятия и ругательства ломаются стальные ломы — и души человеческие.

Только в одном из темных углов барака, на полу которого мерзнет вода, а под потолком в горячем зловонном испарении люди от духоты теряют сознание, три молодых парня, работающих в канцелярии, не спят и при мерцании коптилки, не глядя друг на друга, укутанные бушлатами и одеялами, играют что-то хватающее за сердце.

Безмятежно-чисто рыдает мандолина и надрывно стонет гитара. Один из парней дрожащим голосом дополняет музыку стихами Есенина:

Я теперь скупее стал в желаньях,  
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне?

Все — мы, все — мы в этом мире тленны,  
Тихо льется с кленов листьев медь  
Будь же ты на век благословенно,  
Что пришлось процвести и умереть.

И музыка, и декламация одновременно обрываются и замолкают. В бараке становится тихо. Слышно храпение спящих. Кто-то в бреду зовет к себе мать:

— Мама, милая мама!

Сердце больно сжимается. Хочется закричать. Так закричать, чтобы услышали по всей земле и спящие и бодрствующие, живые и мертвые!..

## ЖУРОВСКИЙ

Галичанин. Австрийским солдатом попал в русский плен, где захватила его революция. Принимал в ней участие в рядах мадьярского батальона, обслуживавшего Чека. Но об этой грязной работе он помалкивал. Потом попал он на строительные курсы десятников, закончил их и работал в Военведе на строительстве разных казарм и общежитий для командного состава. В этот же период он женился, и, кажется, стал кандидатом партии. Но, спустя пару лет, попал в какую-то группу «вредителей», был обвинен в заведомо недоброкачественном выполнении работ по оштукатуриванию военных зданий и по 58 статье получил 10 лет в «не столь отдаленные места». В нашем заполярном лагере он работал производителем работ по строительству сушилки лесоматериалов, где я с ним и познакомился.

Журовский ничем особенным не выделялся из общей массы (таких были тысячи), но об его участии в одном происшествии необходимо рассказать.

Это было в Саратовской тюрьме, когда он в ней содержался в качестве подследственного НКВД в ожидании приговора Ревтрибунала, который его судил. Первое время он находился в камере, где несколько человек подследственных сидело продолжительное время. Они были лишены права передачи и переписки с родными, права общения с товарищами по заключению. Так как их дела находились еще в производстве дознания и следствия, а они никак не «брали на себя»

предъявленных им обвинений, то и содержание их в тюрьме обусловлено было режимной камерой и строгой изоляцией от внешнего мира. Журовский, вначале отказавшись было от «чистосердечного раскаяния», тоже попал к ним и помог этим несчастным не только «воскреснуть из мертвых», но и связаться с их семьями, которым НКВД отвечало, что их мужей у них нет и неизвестно, где они находятся.

Их считали погибшими.

Но вот, после «признания», Журовскому разрешают передачу и краткую переписку с женой. Один из союзников Журовского, старик-инженер, попросил каким-нибудь образом сообщить его жене, что он жив и находится в Саратовском изоляторе. Жена Журовского получила возвращенную кошёлку и краткую записку такого содержания:

«...Маня, сходи на улицу такую-то, номер такой-то, получи одолженные мною ей когда-то 50 рублей. Ты очень нуждаешься в деньгах и дарить этих денег не следует».

Журовская обошла весь Саратов, но указанной улицы не нашла. Уже на вокзале ей кто-то сообщил, что такая улица есть в городке Н., куда случайно собиралась она ехать по другому делу. На следующий день Журовская нашла в этом городке нужную ей улицу и адрес квартиры и постучала нерешительно в дверь. На стук вышла пожилая седая женщина и испуганным голосом спросила, что ей угодно.

— Извините, пожалуйста, что я побеспокоила вас, но я имею поручение от мужа, который просит вас вернуть ему долг... 50 рублей... — продолжала она дальше. — Журовские мы, если помните.

Женщина побледнела и еще более испуганным голосом ответила:

— Ничего не понимаю... ни вас, ни вашего мужа я не знаю. Вы, вероятно, ошиблись?

Журовская еще раз развернула записку от мужа, перечитала адрес и фамилию и повторила их недоумевающей женщине.

Обе с минуту стояли, смущенно глядя друг на друга, затем Журовскую внезапно осенила мысль, и она тихим голосом, каким только говорят в Советском Союзе о секретных и страшных вещах, вдруг спросила у женщины:

— Скажите, не находится ли кто из ваших в... Саратовской тюрьме? Мой муж там сидит, и эту записку я вчера получила от него.

Дама от неожиданности вскрикнула, пошатнулась и приникла к дверям, еле держась на ногах. Задыхаясь от волнения, дама чуть слышным голосом прошептала:

— Да... ве-ро-ят-но... это... мой... муж... два... года... тому... назад исчез, вышел из дому на работу и... исчез.

И в истерике забилась на груди у Журовской.

Две незнакомые женщины, так неожиданно сблизившиеся одним горем, с этого момента стали навсегда преданными подругами, деля в дальнейшем и радости и горе.

В очередной день, когда разрешалась заключенным передача, большая корзина с бельем, одеждой и едой была передана в тюрьму на имя Журовского. Женщина на записочке Журовской кратко приписала своей рукой:

«Долг мой с благодарностью возвращаю Вам. Нюра».

Через четверть часа инженер Н., обнявши корзину, стоял на коленях, плакал и благодарил Бога за свое «воскресение», а остальные товарищи по несчастью стояли над ним и тоже плакали.

Потом НКВД спохватилось и Журовского перевели в другую камеру, а его бывших товарищей снова подвергли строгой изоляции.

Но главное было сделано. Инженер Н. связался

со своей женой, а последняя через Москву добилась свидания с ним и ускорения следствия, а также помогла остальным соузникам мужа. Журовский, не раз вспоминая об этом, говорил мне возбужденно-радостным тоном:

— Когда я вспоминаю этот случай, моя душа наполняется большой радостью.

В конце 1939 года, когда Красная армия заняла всю Западную Украину, Журовский подал заявление в лагерное НКВД с просьбой зачислить его добровольцем в ряды войск и отправить в Галицию. Ему отказали, и видимо пригрозили новыми репрессиями за «потенциальную попытку перехода на сторону врага».



## ПУТЬКО

В прошлом галицийский сапожник, затем член подпольной коммунистической партии Западной Украины и депутат Польского сейма и, наконец, агент Коминтерна.

Время от времени он появлялся на территории СССР, месяцами отдыхая на лучших курортах, и снова возвращался в Галицию для подпольной подрывной работы.

Через своих осведомителей Путько собирал сведения о расположении польских войск и настроениях в армии, о производившихся фортификационных сооружениях на польско-советской границе, о настроениях национальных меньшинств и т. п.

Осведомительная работа была поставлена так, что Галицийский центр, которому подчинен был Путько, в своем распоряжении имел списки всего командного состава местных гарнизонов, биографии и характеристики отдельных офицеров, адреса их квартир и степень их преданности идее великой Польши. И, если необходимо было купить того или другого офицера, агенты Коминтерна точно знали, какую сумму злотых или долларов требовалось приготовить.

В то время в Польше была безработица, и 2-3 злотых в день считалось большим заработком (1 клг. сала стоил 10,80 злотых), агенты Коминтерна сорили деньгами, расходовались сотни и тысячи почти без всяких оправдательных документов.

Для примера можно привести случай, происшедший с Путько в одном из львовских отелей, где он не раз останавливался. Из закрытого на ключ номера и запертого чемодана неизвестно кем было похищено у него 11 тысяч долларов. Номер и замки остались закрытыми, а денег не стало. И когда Путько доложил об этом своему непосредственному руководителю, последний даже не удивился, а совершенно спокойно заметил:

— Пустяки! Кто бы их ни похитил у тебя — прислуга отеля или агенты польской разведки, — от этого происшествия призрак коммунизма не перестанет бродить по Европе. Напиши мне об этом маленькое объяснение.

И Путько опять получил на текущие расходы очередные десять тысяч долларов.

Это случилось в те годы, когда в СССР свирепствовал страшный сталинский голод, а «Торгсин» выкачивал у несчастного населения последние золотые и серебряные крестики, кольца, сережки, чайные ложечки...

И только на следствии в Киевском НКВД однажды следователь предложил Путько рассказать о случае с пропажей 11 тысяч.

Рассказывая об этом, он не раз хвалился мне:

— Советское золото текло в Европу, как вода, всё смывая на своем пути! Если бы вы знали, сколько его прошло только через мои руки! И не удивительно, что все, кто нам были необходимы, покупались нами нашими деньгами.

— Страшная вещь — деньги, — говорил Путько, — особенно тогда, когда они попадают в руки коммунистов. В нашей коминтерновской работе мы очень мало встречали людей, идеи и убеждения которых невозможно было бы купить на советское золото...

Летом 1935 года Путько вместе с другими своими коллегами по коминтерновской работе был, якобы, обвинен в организации террористического акта, направ-

ленного против Сталина, и судим в Киеве. Ему дали 10 лет, а остальных расстреляли.

В родственной ему среде лагерников Путько иногда откровенничал еще больше:

— Добре, дуже добре пришлось пожить!.. И ще поживемо!

Но этим надеждам его не пришлось осуществиться. Через месяц он заболел, а спустя две или три недели бывший депутат Польского Сейма и агент Коминтерна умер от истощения.

## Н О В Ы Й Э Т А П

Красноярский Распред гудел, словно большая ярмарка. За высоким дощатым забором, над которым в несколько рядов была протянута колючая проволока, слышен был многоголосый крик, хохот, отборнейшая ругань, непристойные выкрики по адресу женщин, тюремные песни, свист...

Иногда среди этого шума раздавалась чья-то команда, шум немного утихал, чей-то голос уверенно и властно вычитывал какие-то фамилии, кто-то откликается: «есть!», а потом опять еще сильнее шумела толпа. Чувствовалось, что вызванные на этап новые зэ-ка не только сами нервничали, но волновали и других и будили в них стремление к иной жизни, волю к борьбе за существование.

На четырех углах забора, в высоких будках сидели вахтеры, которых зэ-ка звали попками, и молча наблюдали за всем, что творилось по обеим сторонам «зоны», которую под страхом смерти, запрещено было переступать. Вдоль этой зоны, вокруг «Распреда», днем ходил патруль с немецкими овчарками, а ночью охрана увеличивалась, зона освещалась яркими фонарями и прожекторами, и горе было тому, кто попадал в руки охраны. Правда, однажды, под вечер, выведенный из ворот этап уголовников, увидев перед собой стадо коров, мирно возвращавшееся с пастбища, с криками «ура» бросился в самую середину стада. Конвой и попки перестреляли почти всех. Больше десяти коров тоже было убито. Об

этом неудачном побеге старожилы-урки часто любили вспоминать и гордо добавляли:

— Плевать на жизнь, была бы свобода! Понял?

И теперь «попки», сидевшие в будках над воротами, внимательно смотрели по сторонам, иногда выставляя винтовки и грозя тем, кто намеревался приблизиться к воротам. А приблизиться всем хотелось, так как не только администрация «Распреда», но и все зэ-ка знали о том, что за зоной стоит новый этап, ночью прибывший из России, и что через 2-3 дня он будет пополнен старожилами и направлен в Заполярье.

Новый этап, состоявший из 1000 человек мужчин и женщин, под сильным конвоем, молчаливо сидел на своих вещах по четыре в ряд и ожидал, когда его примут. Кроме политических заключенных, по всем пунктам 58 статьи, были еще так называемые, литерные, не имевшие ни статьи, ни пунктов. Литеры русской азбуки складывались в такие «химические» формулы, что, пожалуй, и само НКВД в них не совсем разбиралось.

И, действительно, тут были и АСА (Антисоветская агитация) и СОЭ (Социально-опасный элемент), и КРГ (Контр-революционная группировка), и КРД (Контр-революционная деятельность), и КРП (Контр-революционная пропаганда), и КРА (Контр-революционная агитация), и ПОЭ (Политически-опасный элемент), и ПБ (Политический бандитизм), и ВН (Враг народа), и ПШД (Подозрение в шпионской деятельности), и ЧСВН (Член семьи врага народа), и ЖВН (Жена врага народа), и т. д. и т. п.

Были в этом этапе и без всяких литер. Их хватили где-нибудь на улице или в номерах гостиниц, без всякого следствия и суда, тащили в вагон, присоединяли к этапу и, только в дороге, начальник эшелона объявлял им — кому 5, кому 8-10 лет изоляции...

И в этом этапе были «кировцы», «троцкисты», «зиновьевцы», «бухаринцы», антисоветские «террористы»,

«диверсанты», «шпионы», бывшие депутаты польского сейма, члены австрийского шуцбунда, испанские добровольцы интернациональной бригады, бывший заместитель Бела-Куна по венгерской Красной армии, политкаторжане царской каторги, челюскинцы, работники КВЖД, бывший полпред в Персии, секретари обкомов и крайкомов, сподвижники Димитрова по Берлинскому процессу — Танев и Попов, прокуроры и чекисты разных рангов, председатели разных исполкомов и руководители всевозможных трестов, синдикатов, объединений, следователи и врачи, занимавшиеся делом Горького, партизаны из отрядов Жлобы и Ковтюха, секретарь Ежова, начальник штаба Чапаева, заграничные агенты и делегаты последнего конгресса Коминтерна, секретари «братских компартий», академики, генштабисты и командармы, пожарники и артисты из МХАТ'а, 14-летний сын председателя СНК Украины Любченко, сестра Ягоды, жена Косарева, белые эмигранты, приехавшие умирать на родную землю, журналисты, поэты, редакторы разных газет, духовенство, и больше всего — простых рабочих и крестьян.

Это были заключенные «ежовского набора», из ТОН'ов (тюрьмы особого назначения) и специзоляторов, где они сидели уже по несколько лет. Теперь их переводили в Заполярный Норильский концлагерь. Их там ожидали более месяца, приготовили для них отдельный лагпункт.

Урки тоже ожидали их, потирая руки. Они предвкушали возможность «раскулачивания». Но суровый приказ начальника «Распреда» на этот раз запрещал уркам приближаться к политическим.

— Начальничек, золотко самоварное, разреши ты нам этих косолапых паразитов слегка поразматывать! Я вот, второй месяц хожу в одном белье, — все спустил на колотушки (карты), а у них, чертей, всяких тряпок московских да заграничных — во сколько! Мы

их, голубчиков, быстренько очистим от всего — и следов не отыщешь. Понял?

— Я говорю серьезно и приказ повторять не стану. Попадется кто-нибудь — на месте застрелю! — грозно прокричал начальник «Распреда» на пахана.

— Золотко, начальничек, тогда попроси у них для нашей хевры какого-нибудь курева — понял? — обратился с просьбой другой пахан.

— Это я могу сделать, если у них самих имеется! — ответил начальник и пошел к воротам.

Ворота открылись и начался прием нового этапа.

Все свободные от работы зэ-ка, — а такими были только урки, — толпой стояли возле своих бараков и ожидали. Трое из новоприбывших под конвоем вошли в «Распред» и стали приближаться к стоявшей толпе. Осведомившись в чем дело, толпа не своим голосом заревела на весь двор:

— Эй, хевра, вали сюда — фашисты прислали к нам мирную делегацию с куревом.

Из бараков, кухни, бани, каптерки — из всех углов с криком и свистом, выбегали урки, полуголые и голые, бородатые и бритые, рябые, курносые, рыжие, черные, высокие и низкорослые, немытые, заспанные, с хриплыми голосами и синяками под глазами, с татуировкой на плечах, на животе и груди, на руках и ногах. На их телах разноцветной тушью были наколоты голые женские фигуры, сидящие и летящие орлы, дьяволы, кресты, цветы, разные имена, змеи, порнографические рисунки, всевозможные надписи.

Почти каждый из них имел по 2-5-10 судимостей, от 5 до 100 лет общего срока и не одну погубленную душу на своей совести. И если у одного из них кто-нибудь спрашивал, как будет дело с этими 100 годами срока, урка с хохотом отвечал:

— Это пассив НКВД! Но так как у меня 15 фамилий и десять кличек, то на каждого меня приходится

по 4 года; а если еще сделать 50% скидки на «зеленого прокурора», то останутся одни сущие пустяки! Вот и вся тебе арифметика.

С гиком и криками восторга «урки» приняли махорку и папиросы и стали благодарить делегацию «четкой» и «сербияночкой».

— А ну, Рыжий, отколи гостям на два с полтиной! — крикнули низенькому парню, стоявшему в одних трусиках.

Под хохот и присвистывание толпы двое урок коротко отплясали несколько сложных «номеров» и, подойдя к гостям, неожиданно заявили:

— Не бойся, фашисты, мы вам ночью всё равно устроим шмоньку! (обыск, грабеж).

На это один из делегатов хотел было что-то возразить, но, видимо один из вожаков, подойдя к нему вплотную, прошипел по-украински:

— Може ти й тут будеш йти проти Советської влади? А галушки полтавські ти їв?

— А это вы, фашисты, облизывали? — добавил на жаргоне урок тот, которого называли Чемберлен, и показал из-под своей рубашки кончик кинжала.

— Ну, делегация, сматывай свои удочки и чеши к воротам! — раздался голос.

Пришедшие с недоумением оглядывались по сторонам.

— Что, фрайеры, уже икру начали метать? Тогда извиняемся, мы только немного над вами пошутили, как, мол, у вас задняя гайка крепко завинчена? Оказывается — слабовато. Ну, ничего, братва, мы добро уважаем и ваш табачок с удовольствием покурим.

Вмешался стоявший в стороне конвой.

— Ну, довольно вам, давай выходи к своим!

И повел их к воротам, где уже стояло около 50 человек новых этапников, принятых «Распредом».

Новый этап принимали до самого вечера. А когда



солнце в мутно-красной пыли стало заходить за далекие горы, прибывшие сидели и лежали в переднем дворе «Распреда». Одни дремали на своих узлах и мешках, другие курили, иные в полголоса переговаривались.

Стали раздавать баланду. Старик-профессор попробовал ее, поставил котелок на землю и сам стал медленно опускаться. Ноги и руки у него дрожали, голова качалась. Профессор как-то неестественно присел, поджав под себя левую ногу, затем потянулся и упал на сидевших рядом соседей. Руки его беспомощно двигались в воздухе. Сухие желтые пальцы скрючились, подбородок как-то странно отвис, рот раскрылся и из горла вырвались хрипы.

Соседи раздвинулись, осторожно приподняли профессора, уложили его на чьем-то пальто и стали звать конвоира.

— Конвой, скорее давайте врача, со стариком обморок!

Профессор умирал.

---

...Солнце зашло, от угла вахты протягивались длинные косматые тени, нагоняя холодок. Сибирская ночь медленно спускалась на затихавший Красноярский «Распред».

## СОРАТНИКИ ДИМИТРОВА

Не сомневайтесь — это те самые. Бывшие соратники Георгия Димитрова не только по нашумевшему Берлинскому процессу в 1932 году, когда Гитлер хотел было обвинить их в поджоге Рейхстага, но и по коминтерновской работе за границей и в Москве...

Как известно, после судебного процесса, все трое — Димитров, Танев и Попов — были привезены немцами в СССР. Спустя некоторое время, после их отдыха на лучших курортах юга СССР, все трое были назначены на высокие посты в Коминтерне: Г. Димитров — Генеральным Секретарем, а Танев и Попов — ответработниками в Балканскую Секцию.

Казалось, что для болгарских революционеров, бывших заграничных работников Коминтерна, настали времена счастливого пребывания в стране мира, где уже ликвидированы все причины, порождавшие социальную несправедливость, где личность освобождена от всяких пут и где «так вольно дышит человек», избавившийся от капитализма...

Но, как известно, в нашем мире, да еще когда в нем «сияют лучи сталинской конституции», всё весьма преходяще и неустойчиво.

Словом, в годы ежовщины наши болгары очутились в застенках Лубянки и стали изучать сталинскую конституцию с «черного хода». Даже их друг и покровитель Димитров не мог помочь им. Их судили, дали им по 10 лет, с поражением в правах и через Бутырки

отправили в Орловский централ, а через год — одного повезли в Колыму, а другого — в наш Норильский режимный лагерь.

Было заполярное лето 1939 года. Хотя июнь был уже на исходе, но стояли еще зимние холода, снег продолжал лежать, а Енисей только начал входить в свои берега, освободившись от весенних вод. Вслед за последними льдинками, плывшими по реке вниз, прибыли первые пароходы и баржи, переполненные тысячами заключенных «ежовского набора». Они прибывали из Красноярского «Распреда», куда свозили их из многих изоляторов и режимных тюрем СССР. В числе 17 тысяч разных «высокопоставленных» зэ-ка прибыл к нам и болгарский «товарищ» Попов... Это был человек, из которого НКВД вынуло всё, что составляет человеческую личность. Но зато оставило ему в вечное пользование волчий аппетит, который Попов никак не мог утолить лагерным супом, называвшимся на языке заключенных «Баландой Виссарионовной». Да и этой сталинской похлебки не давали ему вдоволь, ибо он не мог выработать надлежащей нормы на общих работах, и всегда попадал в разряд штрафников и отказчиков, которым выдавали по 300 грамм хлеба и горячую воду на закуску, подогретую московскими радио-передачами.

Вначале все зэ-ка проявляли к нему особенный интерес: ведь как никак, а работник Коминтерна и сподвижник Димитрова по Берлинскому процессу. На все вопросы своих соседей по бараку он отмахивался. Но через некоторое время, когда лагерный режим стал гнать и его в группу доходяг, Попов всё больше стал опускаться и понемногу развязал язык. Однажды, выпив свой суп одним залпом и без хлеба, Попов приподнялся на нарах и, отвечая на вопросительные взгляды своих соседей-доходяг, неожиданно взволнованным голосом заговорил:

— Меня превратили в живой труп, оставив мне только жалкий инстинкт жизни и непреодолимое желание утолить постоянный голод... Танева угнали на Колыму... А меня — сюда прислали. А тот, который отказался от нас и не вырвал из Лубянки, тот научился уже ад называть раем, а рай адом, идиотов — гениальными людьми, а гениальных людей уничтожать. Он стал законченным сталинским холуем. Шкура! Он думает, что спасет свою жизнь, отмахнувшись от своих старых друзей! Нет, товарищи, за нас покарает его история!

Он закашлялся и упал на нары. Потом открыл глаза, вытер их рукавом бушлата и прошептал:

— Как мне хочется есть и... умереть!

На следующее утро Попова увели в лагерную больницу, а следователь 3-го отдела занялся его «контрреволюционным» разговором. Какова была его дальнейшая судьба, не знаю. Надо полагать, что 3-й отдел помог ему переселиться к основоположникам марксизма, во имя которых он пожертвовал своей жизнью.

Еще раз вспомнился мне Попов в связи с неожиданной смертью его «друга» Димитрова, которого Вышинский спешно вывез из Софии в Москву, а мясники из Лубянки «оперировали», чтобы удалить из его мозгов «язву титоизма»... Предсказания Попова почти сбылись. Только в одном он ошибся, — это в том, что Димитров зарыт не в массовой могиле концлагеря НКВД-МВД, а лежит в мавзолее Софии...

## ТАК СТРОИЛИ СОЦИАЛИЗМ

Это было в 1932-33 годах «счастливой» социалистической эпохи, на Украине, в Центральной России, на Кубани, в Терской области, у калмыков, в Туркестане и в других областях нашей страны.

Это было тогда, когда Советский Союз по демпинговым ценам «выбрасывал» на мировой рынок миллиарды пудов хлеба, рыбы, мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов, нефти, горючего, лесоматериалов, мануфактуры.

Это было тогда, когда на родных нивах уродились прекрасные хлеба, но сплошная коллективизация или сгноила их на полях или выкачала у крестьян для заграничных поставок. И начался голод. Совершенно без хлеба остались десятки миллионов крестьян, которые раньше кормили и себя и миллионы других людей.

Когда у крестьян силою были отобраны последние килограммы зерна и овощей, они стали питаться дубовой корой, желудями, корнями всевозможных растений. Были съедены все кошки и собаки. Более предприимчивая часть населения бросилась в различные концы страны в поисках хлеба. Переполненные поезда голодных двигались к большим городам и промышленным центрам, где хлеб давали по карточкам.

Те, кто оставался на месте, съевши всё, что было съедобного, стали опухать, болеть и умирать. Сперва менее приспособленные, потом и остальные: тысячами, миллионами.

Черные крылья смерти витали над каждым селением, и не было такого угла, например, на Украине, где не свирепствовал бы страшный голод. Люди стали питаться падалью и человеческими трупами. От трупоядения перешли к людоедству. Во многих местах обезумевшие от ужаса матери съедали своих или чужих детей.

ГПУ были раскрыты многочисленные шайки людоедов, занимавшиеся ловлею жертв и даже торговавшие мясными изделиями из человеческих трупов. Людоедов расстреливали, людоедок отправляли в Соловки.

Особенно тяжелые месяцы были весенние: март, апрель, май, пока не выросла трава и первые корнеплоды, овощи, ягоды. По дорогам, тропинкам, канавам валялись обглоданные людьми или собаками трупы несчастных... Некоторые селения вымерли на 50-70%.

Тысячи погибших лежали в своих хатах и дворах без погребения: некому было их хоронить. Братские могилы, вырытые властями на кладбищах, не могли вместить всех умерших. Были посланы на места санитарные бригады гробокопателей из красноармейцев и комсомольцев городов. Но и они не успевали убирать погибших. Над многими совершенно вымершими селениями властями были повешены флаги с надписями: «Чумный карантин, въезд воспрещен». Да и ездить, собственно, не было кому, кроме представителей власти да санитарных бригад.

Сколько на Украине вымерло от голода людей? Большевистская статистика об этом молчит. Она даже отрицает, что голод был.

Кубань... Что такое Кубань? Кубанская область до большевистского переворота урожаем одного года могла прокормиться минимум три-четыре года. А в 1933 г. большевики превратили ее в кладбище... Всё выкачали. Даже дикорастущие груши, заготовленные людью-

ми на зиму, были изъяты. Отдельные хозяйства и целые станицы, как, например, Полтавская, Усть-Медведовская, Урюпская за невыполнение зернозаготовок, в несколько раз превышающих наличие их запасов зерна, были выселены на Урал, где население их почти поголовно погибло. Оставшееся невысланным население стало разбегаться во все стороны. Но людей хватало ГПУ и возвращало обратно в... ближайшую тюрьму или высылало в Сибирь. Тюрьмы и дома заключения были переполнены. заключенным выдавали по 50-100 гр. кукурузного хлеба на день. Из попавших в это время в тюрьму выдерживали счастливые одиночки. В Краснодарской тюрьме, например, ежедневно умирало от 20 до 50 человек... Такая же смертность была и в других тюрьмах этого края.

Оставшиеся по станицам и хуторам люди стали питаться всем, что могло быть съедобным... Собаки, кошки, крысы, лошади, кора деревьев, трупы животных, трупы людей — всё стали поедать обезумевшие люди. С середины зимы поплыли зловещие слухи о людоедстве.

В станице Лабинской одна торговка зарезала девочку своей соседки, приготовила из нее холодец и продавала на железнодорожной станции пассажирам. Ее накрыли с поличным и арестовали.

В станице С-й знакомый районный врач участвовал в комиссии ГПУ по освидетельствованию арестованных, 18-20 человек, которые организованно занимались ловлей людей и их съедали. На допросе они хохотали и вели себя, как безумные. Их расстреляли.

В станице А-й моя хорошая знакомая Алехина пустила в свой домишко, состоящий из кухни и комнаты, каких-то людей из-за Кубани. Квартиранты — муж и жена, прожив несколько дней, зарезали свою хозяйку, обрезали труп до костей, а скелет и внутренности зарыли в сенях и присыпали разным мусором и стружка-

ми. Мясо было сложено в лоханке и приготовлено к варке. Рано утром в дом зашла соседка и стала расспрашивать, где Алехина. Квартиранты, прикрыв наспех лоханку дерюгой, путано ответили пришедшей, что хозяйка ушла в гости к своей дочери за Кубань. Поведение квартирантов показалось ей очень подозрительным. Но когда она еще увидела мясо в лоханке, плохо прикрытое перепуганными квартирантами, на нее напал безотчетный страх. Она поспешно вышла во двор и побежала в милицию. Людоеды во-время скрылись, захватив с собой часть вещей хозяйки. Прибывший на место происшествия милиционер обнаружил только скелет, зарытый в сенях, да внутренности несчастной. Мясо же каннибалы тоже унесли с собой...

Бывшие красные партизаны, близко стоявшие к ГПУ, рассказывали, что по Северо-Кавказскому краю арестованы были сотни людей по обвинению в людоедстве... Как правило: мужчин уничтожали, женщин отправляли в Соловки... Людоедство продолжалось до самого мая, когда появилась трава, съедобные коренья, рыба и разная зелень.

Уже в 1939 году, когда из Соловков перевезли в Заполярье узников «ежовского набора», я узнал от них, что из Соловков вывезли всех заключенных, за исключением 340 каннибалок, которые оставлены были в качестве работниц на местной сельхозферме НКВД.

...А в это время в Новороссийске и других черноморских портах огромнейшие элеваторы перекачивали с берега в иностранные пароходы пшеницу, кукурузу, горох, подсолнух. А из холодильников — замороженное мясо, битую птицу, экспортный бэкон, рыбу, миллионы яиц...

7 августа 1932 года был издан закон, каравший 10 годами всех тех, кто посягал на государственную собственность.

Голодная женщина накопала на заброшенном кол-



хозном огороде 10 килограммов картофеля. Ее судили и дали десять лет. Голодный подросток, работавший на засолке рыбы в Новороссийске, получил 10 лет за хищение одного ведра камсы.

В станице Куцевской колхозники, работавшие на посеве яровой пшеницы, объедались протравленным зерном и десятками умирали тут же на поле, за сеялками. Для закона от 7 августа они уже были неуязвимы.

Община евангельских христиан в количестве 80 человек, отдав всё заготовителям, отказалась вступить в колхоз и в последней стадии истощения от голода с трудом вышла на кладбище и с молитвою тихо стала умирать. На третьи сутки скончались последние из мучеников с зажатыми в руках Библиями. Только через две недели санитарная бригада ставропольских комсомольцев сволокла их в одну общую яму.

Сколько умерло от искусственного голода сталинской эпохи? Точной цифры никто не знает, даже само ГПУ. Во всяком случае, эта цифра не меньше 15 миллионов. Позже, на следствии, когда количество погибших от голода я определил в 20 миллионов, следователь запротестовал и стал грозить мне всякими бедами. Я согласился уменьшить до 10-12 миллионов, следователь замолчал и занес ее в мое дело. Я тогда подумал: если ГПУ соглашается на 10-12 миллионов, то сколько же на самом деле погибло?

Как-то однажды, в поезде, я разговорился с одним крупным партийным работником с орденом на груди. Он спокойно слушал мои рассказы о страшном голоде в Кубанских станицах, а потом сказал:

— Это всё кулацкий саботаж. Враг, конечно, будет сопротивляться... В вопросе «кто-кого»? — не может быть никакого либерализма и сентиментальностей... Если нужно будет, мы уничтожим 50% этих троглодитов (это крестьян и рабочих!). Но социализм всё же построим!

Когда потом я рассказывал об этом случае в поезде своему следователю, последний лицемерно заявил: — Очень жаль, что вы не знаете его фамилию, а то бы мы показали ему 50%.

Но что значит эта фраза, когда этот же чекист руководил кампанией по выкачке зерна из станиц и выселению раскулаченных в Сибирь и Среднюю Азию?

Кроме того, он не мог не знать секретного постановления известного в то время совещания Партактива, тогда еще Северокавказского Края (1933 г.).

На этом совещании «представитель партии и правительства» Каганович авторитетно заявил, что если для выполнения заданий партии и правительства придется перешагнуть через трупы сопротивляющегося кулачества, партийные работники с мест должны будут это сделать.

*И они это сделали* (хотя некоторые из них от ужаса сходили с ума и кончали самоубийством). Сделали по приказу правящей коммунистической клики.

## АРХИТЕКТОР МИЛЛЕР

Что такое Магнитогорск? Это одна из гигантских строек сталинской пятилетки, обошедшая нашей Родине в сто тысяч загубленных жизней. И не каких-нибудь «контриков» и «бывших», а простых крестьян, превращенных советским социализмом в так называемых «кулаков» и «подкулачников». И когда на костях этих несчастных в голой пустыне был воздвигнут Магнитогорский металлургический комбинат, его начальника, некоего Павла Абрамовича Завенягина, наградили орденом Ленина и, очевидно, в порядке продвижения назначили начальником строительства Норильского комбината, куда он и соизволил прибыть в конце 1937 года. (Его предшественнику Матвееву при Ежове дали 10 лет и отправили на Колыму).

Говорили, что Завенягин палач, готовый на всё лишь бы обеспечить себе быструю карьеру, что под псевдонимом Завенягина подвизается один из выдающихся работников Лубянки, для которого орден Ленина и благоволение Сталина были важнее судеб десятков тысяч крестьян, жизнь которых он положил в основание своей карьеры.

Он очень хорошо говорил по-русски и холодными улыбками отмечал свое восхождение по энкаведистской лестнице. На его жаргоне заключенные не умирали, а дохли, и, если какие-нибудь счастливцы всё-таки умудрялись отбывать свои сроки в пять или 10 лет, Павел Абрамович спокойно санкционировал так называемые

«довески», и отбывший свой срок заключенный снова получал из Москвы дополнительные три, пять или десять лет...

Переселившись в Норильск, Завенягин немедленно же распорядился, чтобы ему выстроили особняк-коттедж. Для этого лагерем были выделены лучшие строительные бригады, во главе с архитектором, бывшим членом германской коммунистической партии Миллером, имевшем 10 лет заключения с 5-летним поражением в правах. На мой вопрос, как он, будучи видным коммунистом, мог очутиться в Заполярье в качестве советского арестанта, да еще в роли строителя коттеджа для высших палачей НКВД, — он ответил мне: «Советский коммунизм — это Азия. И если я заблудился в ее джунглях, то от этого я не перестану быть коммунистом!».

Это был человек маленького роста, с наружностью провинциального врача и умом малого ребенка. Несмотря на то, что машина НКВД раздавила его своими колесами, он всё еще продолжал бодриться, руководил строительством коттеджа и доказывал, что «только настоящий коммунизм спасет мир».

Однажды коттедж посетил «сам» Завенягин. Его сопровождали лейтенанты госбезопасности, главный инженер комбината и архитектор Миллер. Несмотря на одобрительный отзыв о его работе, Миллер, выпроводивши высоких гостей, сел на скамейку и тихо сказал: «Ну, что эти люди понимают в архитектуре?!».

Летом 1939 года несколько человек заключенных были изъяты из лагеря и посажены в новую только что выстроенную тюрьму. Им было предъявлено новое обвинение в подготовке террористического акта против... Завенягина. Обвиняемые написали ему заявление с просьбой разобрать их дело и снять с них тяжкое обвинение. Павел Абрамович собственноручно ответил им на их же бумажке:

«В готовившееся на меня покушение не верю, но помочь вам ничем не могу».

После этого коттедж стал охраняться часовыми.

Однажды кто-то из соседей по нарам угостил архитектора Миллера сладким чаем с белыми сухарями. Он ел предложенное ему угощение, вздыхал, охал и, наконец, допивая последнюю чашку чая, сказал:

— О, какой добрый сердце имеет русский человек! И почему ему навязали такой уродливый социализм?

— Потому же, почему и вы из свободного немецкого архитектора превратились в советского арестанта, — ответили ему рядом лежавшие на нарах заключенные.

## ВОЗМЕЗДИЕ

История этого дела такова.

В годы НЭП'а, соблазнившись лозунгом Бухарина «обогащайтесь», он бросил батрачество, женился и стал обзаводиться хозяйством.

К концу двадцатых годов, на 10 гектарах полевой земли, он уже имел две пары лошадей, три коровы, десятка два овец, две свиньи, пятнадцать кур, собаку и кошку. Одним словом «окулачился». А когда, в 1930 году, он отказался вступить в колхоз, его вместе с другими объявили «злостными кулаками», обвинили в «кулацком саботаже», судили и темной ноябрьской ночью расстреляли на разгромленном кладбище города П. Семьи расстрелянных были вывезены куда-то на Урал.

...В 1937 году, в одном из Средне-Азиатских овцеводческих совхозов «летучая кавалерия» комсомольцев обнаружила вредительскую группу «врагов народа», в которой очутился и пастух того же совхоза Дмитренко. Часть этой группы расстреляли, а часть с разными сроками отправили в концлагеря.

Дмитренко дали 10 лет и осенью того же года привезли в Заполярье. По состоянию здоровья он имел третью категорию и работал дневальным и истопником в бараке плотников. О себе и своем прошлом он почти никому не рассказывал, вел себя очень замкнуто.

Соседом его по нарам был один глубоко верующий человек, с которым он всё-таки делился своими переживаниями.

Потерявши всё в жизни, он охотно слушал беседы о Боге и религии и не раз, взволнованный ими, плакал.

— Неужели над этими палачами никогда не прогремит кара Божия? — часто спрашивал он своего соседа. — Тогда я увидел бы, что хоть на небе еще осталась Правда... А до этого я не могу верить, как ты...

Когда в 1939 году в наш лагерь прибыло несколько партий арестантов из бывших партийных работников, среди них оказался и прокурор из П.

— Ничего, — говорил своему соседу Дмитренко, — на эту морду, когда пробьет ее час, я наведу такой ужас, что от одной лишь встречи со мной он или с ума сойдет или же подойдет. Этот палач из нашего района, — он меня хорошо знает! Я ему, гаду, скажу: «Ну, дружок, ты тогда расстрелял меня, но я вот воскрес, и теперь уж буду тебя судить».

И он шопотом рассказал:

— Я был легко ранен, притворился мертвым, примерно, через час, после расстрела, выбрался из плохо засыпанной землей могилы, на хуторе у знакомых подлечился и под чужой фамилией очутился в Средней Азии. Как видишь, под этой фамилией я попал и к тебе в соседи...

...Спустя несколько недель, бывшего прокурора из П. нашли в уборной.

Когда труп был вытасчен и обмыт, в затылке его нашли глубокую ножевую рану.

Убийцы остались необнаруженными.

Обсуждая происшествие, заключенные говорили: — Собаке — собачья смерть!

Петренко-Дмитренко стал еще более мрачным.

## ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Как известно, большевики отказались подписать в Гааге конвенцию о военнопленных, заявив, что, если даже чины Красной Армии и попадут в плен к противнику, то их будут рассматривать, как дезертиров и изменников родины.

После заключения мира с Финляндией, возвратившиеся из плена на родину командиры и красноармейцы были судимы Ревтрибуналом Ленинградского военного округа. Значительную часть их расстреляли, а остальных, «расстрелянных» условно, небольшими партиями разослали по концлагерям НКВД.

Одна из таких «небольших» партий в количестве 1500 человек попала в Заполярье. Здесь «расстрелянных» заключили в отдельный лагпункт и изолировали от остального лагерного населения и внешнего мира. Суровый режим и строгая тайна окружали их в лагере.

Вначале их даже не посылали на работы вне «зоны», но потом, спустя несколько месяцев, бывшие красноармейцы стали ходить на промывку золотоносного песка, рытье шурфов для георазведки и на другие работы, где они не могли встречаться с остальными заключенными. Ежедневно можно было видеть шедшие на работу и обратно в спецзону серые колонны «расстрелянных», сопровождаемые конвоем из отборных лагерных охранников.

Но шила в мешке не утаишь. По Норильлагу поползли слухи, что заключенные из спецзоны, носившие



еще военную униформу, хотя и без установленных для красноармейцев знаков отличия, привезены в Заполярье, как «живые мертвецы», в наказание за сдачу в плен финнам.

Сперва эти слухи носили характер лагерных «радио-параш» и предположений, но потом они подтвердились осторожными рассказами самих «расстрелянных», изредка попадавших тяжелобольными в общелагерную больницу. А еще через несколько месяцев, с разрешения Москвы, бывших красноармейцев начали использовать на общих работах в комбинате, что дало возможность войти с ними в непосредственное соприкосновение.

Таким образом «расстрелянные» не только «оживли», но через вольнонаемных начали пробовать устанавливать нелегальные связи со своими домашними, которым из Красной армии официально было сообщено, что их сыны, мужья и братья «пропали без вести».

Под большим секретом (за разглашение тайны условный расстрел заменялся им действительным) несчастные бывшие красноармейцы рассказали, как их вывезли из Финляндии и, как после краткого допроса, заочно судили и после с условным расстрелом привезли к нам.

Многие из них сокрушались:

— Почему мы не остались в Финляндии, когда нам финны предлагали остаться у них? Почему не уехали в Америку по предложению Красного Креста?

И действительно, многие уехали из плена в Америку и этим избежали действительного и условного расстрела.

Прикрываясь трескучими фразами о беззаветной любви к родине и Сталину, «пропавший без вести» Николай Симонец писал своей старухе-матери в Смоленскую область:

«Дорогая моя мамаша!

Пишу вам пока кратко, чтобы вы знали, что я, ваш сын Николай, нахожусь в далеком краю, чувствую себя здоровым и бодрым и с радостью участвую не только в обороне нашей счастливой Родины, но и в строительстве социалистического общества под сияющими лучами бессмертной сталинской конституции и мудрым водительством ее творца — великого отца, друга и учителя тов. Сталина.

Адрес мой вышлю в следующий раз. Крепко обнимаю и целую вас, ваш счастливый сын

*Николай».*

Крестьянка Смоленской области Евдокия Симонец, получившая весточку от сына, всё плакала и приговаривала, крестясь на маленькую, почерневшую от времени иконку:

— И спасибо тому товарищу Сталину, что он даже из пропащих вызволил моего сына...

Бедная старуха, весть от сына сделала ее действительно счастливой.

А ее сын, Николай, надрываясь на земляных работах в вечной мерзлоте, проклинал в это время и сталинскую конституцию, и самого ее творца.

Лагерное же радио орало:

Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек!

## В КРАСЛАГ

...Существовала установка ГУЛАГА, чтобы в наш лагерь направлялись только здоровые и трудоспособные заключенные. И это правило действовало до 1939 года, пока наш лагерь не превратили в режимный, особого назначения, который должен был принять новый 17-тысячный этап из заключенных ежовского набора. Когда этап прибыл к нам в Заполярье, на людей обрушилась эпидемия кровавого поноса. Врачи растерялись. Почему туземцы и старые лагерники понятия не имели об этой болезни, а новоприбывших она косила?

Правда, в трехмесячные полярные ночи, когда человека одолевает болезненная сонливость и безнадежная тоска, граничащая с отчаянием, некоторые заключенные заболели цынгой, но с нею быстро справлялись при помощи противоцынготного отвара из хвойных игл и всяких таблеток. Еще многие жаловались на болезненное сердцебиение и одышку, вызванную ненормальным давлением воздуха, но эту болезнь не считалось и на таких больных никто не обращал внимания.

Кровавый понос был новым явлением в нашей жизни. Все амбулатории и больницы были переполнены заболевшими, а количество их всё возрастало. Запретили пить сырую воду, но заболевания не прекращались. Шел сентябрь месяц и наступили зимние холода. Это давало надежду врачам, что эпидемия скоро прекратится. И, действительно, через пару не-

дель заболевания пошли на убыль, но ранее заболевшие продолжали болеть и умирать. Наконец, администрация строительства, опираясь на приказ ГУЛАГ'а, решила избавиться от сотен нетрудоспособных заключенных, дошедших до крайней степени истощения, стала организовывать обратный этап на «материк». Попутно с больными решено было вывезти и тех заключенных, срок которых истекал зимой и которых нельзя было ни оставить вольнонаемными до весны, как пораженных в правах, ни вывезти в Красноярск: в зимнее время связь с материком поддерживалась только гидропланами. Таким образом, вместе с тремястами больных были назначены в этап и человек 10 здоровых, в том числе и я. Срок мой кончался 10 января. Оставить меня на стройке лагерное НКВД не могло, и я был вызван на этап.

Это случилось в октябре 1939 года.

Перед этапом устроили нам, как обычно, тщательный обыск, отбирали бумагу, карандаши, колющие и режущие предметы, спички, книги. Отобрали у меня чудесный гербарий с 60 экспонатами заполярной флоры. Протестовал — не помогло. Пропала моя коллекция, над которой я столько трудился.

Потом стали нас загонять в грязный, сырой и темный трюм. Помещение, в котором с трудом могло разместиться каких-нибудь сто человек, набили тремястами тяжело больных поносом, посредине поставили огромную бочку — парашу с перекладинами и дверь закрыли, приставив к ней с наружной стены постового.

Пароход отдал концы.

Еще раз через иллюминатор я взглянул на уходившие из глаз знакомые берега Дудинки, вздохнул и... на душе снова стало тихо — легко и торжественно.

Я лежал в темном углу под трапом и подводил итоги прожитым мною в Заполярье 1235 дням...

В машинном отделении стучали поршни и колеса,

мне казалось, что они отсчитывают эти дни, которые никогда уже не повторятся.

Необозримые дали тундры... 60-градусные морозы и «намордники» против них. Стосуточная ночь с величественным Северным сиянием и «черной» пургой, заметавшей трактора, поезда, дома, людей. Изоляторы смертников и более 700 расстрелянных... и среди них много мучеников за веру Божию.

— Петр Дудкин, 55 лет, за попытку пробраться на Старый Афон, был задержан на польской границе, осужден за «измену родине», препровожден в Норильск и расстрелян в апреле 1938 года.

— Костромской епископ Никодим (б. викарий Чигиринский), за отказ отречься от Христа, расстрелян в январе 1938 года.

— Старик-раввин за твердое стояние в своей вере расстрелян вместе с епископом Никодимом.

— Приват-доцент Ленинградского института журналистики Дроздовский, за изучение иностранных языков (ожидание интервенции). Время расстрела не установлено.

— Украинский поэт Лаппо за патриотические стихи. Время расстрела не установлено.

И сотни других, мне знакомых и незнакомых, интеллигентов, рабочих и крестьян...

Мир праху вашему, дорогие союзники и мученики!

---

...Отдельная Дудинская строительная дистанция. Летние и осенние месяцы 36 года. Работа в ТНБ. В громадной брезентовой палатке, разбитой на торфяном покрове, жили мы, инженерно-технические работники. Палатка стояла под косогором и под ней стал протекать небольшой ручей. Бывшая советская интеллигенция и урки по ночам в него мочились. А в глухом углу палатки стояла «красная доска», в заголовке которой красовались слова «вождя»:

«Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей!».

Строили мосты и по снегу прокладывали трассу в Норильск.

Первый раз в жизни грустно прощались с заходящим на три месяца солнцем, а двадцать четвертого января радостно встречали его восход, приветствуя криками и восклицаниями. В эти тяжелые три месяца хотелось было заснуть, чтобы проснуться с восходом солнца. Но нужно было работать, чтобы отбыть срок и вырваться на волю.

Потом припомнилось 2 июля 37 года. В этот день вскрывался Енисей. Какое это было потрясающее — величественное зрелище! Образовавшийся ледяной затвор был опрокинут валом прибывшей воды, гигантским колесом в 50 метров высоты, с треском и грохотом выкатился на берег, превратившись в белоснежную сыпучую гору... Водяной вал, обогнув Дудинку и затопляя низкие места, понесся вниз к острову Диксон. А за ним, увлекаемые быстрым течением, на льдинах плыли деревья, какие-то бревна, строения и две человеческие фигуры. Было видно, как они махали нам руками, взывая о помощи, но кто мог спасти их!

И еще вспомнилось, как в этом году некоторые заключенные устраивали побеги в тундру — в объятия голодной смерти. Но один беглец всё же добрался до «материка» и письмом сообщил своим приятелям из... Средней Азии. Большинство заключенных было законвоировано, а так называемых «тяжеловесов» загнали в специальные бараки-изоляторы, окруженные тройным рядом колючей проволоки и усиленной охраной. А поздней ночью пришел и мой черед... Дважды убеждали меня в НКВД, чтобы я «бросил свою религию», и остриг бороду, обещали досрочное освобождение из лагеря и большой пост в комбинате. Не помогло. С

радостью пошли мы в изолятор, где потом попали в списки смертников... С наступлением 38 года из Дудинки перевезли нас в Норильск на Кирпичный завод. Это была «командировка» для обреченных. Тяжелые физические работы, плохое питание, а по ночам вызовы в «этап смерти»... Жуткие это были ночи! Несчастных уводили за Рудную гору и там над шурфами геологических разведок расстреливали. Потом летом, когда снег в шурфах растаял, работники изыскательной партии видели торчавшие из них ноги и руки... Я чувствовал, что приближалась и моя очередь. И горы, и тундра, и снега, и здания, и люди, казалось мне, — прощались со мной каким-то особенно грустным прощанием. Обрывались последние связи с жизнью. Когда накануне расстрела Дудкину приснился сон, что его вызвали в далекий этап, мы поняли, что час его пробил. И я ожидал подобного сна... И вот приснилось мне пасхальное богослужение и такое дивное пение: «Христос воскрес»... А когда я проснулся, душа моя была наполнена каким-то особенным чувством свободы и мира. Я понял, что смертная чаша миновала меня, и меня ждет другая жизнь. Кончилась страшная ежовщина — и часть обреченных снова вернулась на места своей прежней работы в лагере.

...Еще мелькнул 39 год... И прибытие большого этапа из «врагов народа», а среди них — тузы и короли партийных и советских верхушек. Заключение опознавали в них своих бывших следователей, судей, прокуроров...

Некоторые, узнавая их, избивали до полусмерти.

Однажды приходит ко мне знакомый инженер-механик, рассказывает, как он имел удовольствие познакомиться только что с женой Косарева, красавицей грузинкой и хочет меня с ней познакомиться.

— Не желаю я знакомиться с этими людьми, мне

не о чем с ними говорить, — ответил я инженеру. Но потом среди них я нашел очень много прекрасных людей. Человеческая душа даже в падении своем иногда бывает прекрасна... Прекрасна в своем сокрушении и смирении.

1235 дней провел я в этом заточении, из них 6 месяцев в изоляторе. Неужели всё это кончилось, и меня вывозят «на материк», о котором заключенные Норильлага могли только мечтать? Да, везут! Я уже на пароходе... Но куда?

...Поздно ночью слышались протесты. От дверей и до параши через всю длину трюма стояла очередь больных. Сойдя с параши, больные снова становились в очередь, чтобы через 20-30 минут иметь возможность снова на нее сесть. Некоторые тут же валялись на пол и умирали, а другие «доходили» на своих местах. Воздух в трюме был наполнен тяжким смрадом. Дышать было нечем. Стали стучаться в закрытые двери. Слышался голос конвоира:

— А ну, там, чего стучите?

— Откройте двери, дышать нечем!

— Все не подохнете. Начальник конвоя не велел открывать!

— Позовите начальника! — закричало несколько голосов.

Через несколько минут появился начальник, некий Кузнецов, выслушал жалобы больных и грозно заявил:

— Иллюминаторы есть, открывайте их и дышите, а дверей вам не открою. Если же кто и подохнет, завтра сдадим его на берег. А ежели станете еще стучать и шуметь, дам распоряжение применять оружие!

Только утром открылись двери, чтобы дать нам завтрак и вынести из трюма 8 трупов.

А потом снова та же история, почти до самого



Красноярска. В Игарке, Туруханске и Енисейске снесли на берег еще 19 трупов.

Так НКВД избавлялось от ненужных инвалидов и безнадежно больных.

В знакомый мне Красноярский «Распред» мы прибыли ночью 2 октября и в ожидании подачи эшелона на Канск разместились на двухъярусных деревянных чарах и повалились спать.

## ДЖАПАРИДЗЕ

Старику было около восьмидесяти лет. Среднего роста, с ярко выраженными грузинскими чертами лица, седой, с короткими серебристыми усами над плотно сжатым ртом. Говорит чуть с заметным кавказским акцентом. Говорит медленно, отчетливо, ясно. В обращении с другими вежлив и прост, но держит себя независимо и с достоинством. Он развил в себе и вынес на волю крепкое чувство взаимопомощи и солидарности с товарищами по заключению, и не раз очень смело и решительно выражал его.

Так, например, когда конвой, сопровождавший наш лихтер (баржу), стал избивать одного из политических, он первым вступился и гневно крикнул:

— Не смейте, изверги, бить человека!

Он делился с нуждавшимися последними скромными запасами сухарей и сахара и никогда никому ни в чем не отказывал.

Всё его поведение невольно внушало к нему уважение. Даже уголовники уважали его.

Старый революционер, друг и сподвижник Сталина, дядя и учитель Алеши Джапаридзе — одного из двадцати шести бакинских комиссаров, расстрелянных англичанами в 1918 году, человек с огромным политическим и революционным прошлым и, наконец, советский арестант, «враг народа», он медленно умирал. В Тифлисе у него остался 15-летний сын, но с ним ему было

запрещено переписываться. О его судьбе он ничего не знал. И это его очень угнетало.

Хотя по убеждениям мы были с ним и разные люди, но это не мешало нашему сближению. В минуты откровенности он, как бы жалуясь на кого-то, в глубокой скорби делился со мной своими переживаниями.

— Очень хороший у меня мальчик. Из пятого класса перешел прямо в седьмой. Очень любит учиться и всё на своем пути преодолевает. Через своих друзей еще в Тифлисском НКВД я получил от него записочку, в которой он писал мне: «Папа, мне известно, что ты страдаешь невинно, и я всегда буду уважать тебя и любить...».

На последнем слове голос у старика дрогнул и оборвался. Он перевел дыхание и почти шопотом продолжал:

— Если вам удастся выбраться на волю, пожалуйста, дорогой мой, повидайтесь с моим сыном и расскажите ему обо мне.

Когда я всё-таки очутился на воле, мне к сожалению, так и не удалось побывать в Тифлисе.

Ночью, когда заключенные спали, мы лежали рядом на своих местах и тихо беседовали. Он охотно рассказывал мне о царской каторге и политкаторжанах, о своем аресте и о том, как тифлисские следователи отказались вести его дело. Один из них даже застрелился, оставив записку на имя Сталина, в которой обвинял последнего во всех бедах, обрушившихся на страну и только бывший грузинский князь, приехавший из Москвы, довел следствие до конца, чтобы дать ему восемь лет и пять поражений.

Однажды я задал ему вопрос, какая разница между царской каторгой и советскими концлагерями? Джапаридзе глубоко вздохнул и, указывая пальцем на потолок лихтера, взволнованно ответил:

— Небо и земля! Хотя я тогда и был закован в кандалы, но меня считали человеком и никто не посмел мне грубого слова сказать, тем более издеваться над нами.... А кормили как! Три фунта казенного хлеба, три четверти фунта мяса и не теоретического, как у советов, а прямо с весов. А борщ или суп до того жирный готовили, что, право, есть невозможно было. Кроме того, мы имели неограниченные возможности пользоваться лавочкой и базаром. Покупай, что хочешь и сколько хочешь, были бы деньги.

А на праздниках Рождества или Пасхи нашу каторгу заваливали пасхами, куличами, яйцами, рыбой, колбасой, окороками, мясом, салом, сахаром, конфетами. Горы всего! В течение нескольких недель после праздников мы питались этими пожертвованиями, а казенное довольствие деньгами записывали на книжку. А работа? На постройке Амурской железной дороги я должен был накопать и на тачке отвезти грунта средней плотности на расстояние 30-40 метров — 0,6 куб. метра. За эту работу мне еще платили несколько гривенников золотом. Кто хотел — шел зарабатывать, не хотел — не работал. По праздникам и воскресным дням совсем не работали. А сколько их было? Пятьдесят два воскресенья, двенадцать больших и более десяти малых праздников, Новый год, царские дни, последние дни Страстной Седмицы — на говенье, всего 85 дней. А если к этому прибавить еще дни непогоды, дождей, пурги, сильных морозов, то для работы в году оставалось каких-нибудь 220-250 дней! Такова была царская каторга! А что происходит на сталинской каторге, вы сами хорошо знаете!

Джапаридзе снова передохнул, откашлялся и продолжал свой рассказ:

— Из Соловецкого изолятора, где мне пришлось пробыть в одиночке более двух лет, я писал Джуга-

швили: «Сосо! Ты помнишь, как мы с тобой при проклятом царизме в Бакинской тюрьме жарили шашлык? А чем ты меня теперь кормишь?». Не знаю, было ли ему передано мое письмо, но кормить меня продолжали той же «баландой»: вареная вода, две-три гнилых картошки с листьями мерзлой капусты в ней и 400 грамм хлеба — вот и весь сталинский «шашлык», — сострил он и улыбнулся. Потом, глядя прямо перед собой, продолжал. — Сталин не только великий деспот, но и великий трус. Я его знаю хорошо. Такой личной охраны, какой он себя окружил, не имеет ни один правитель в мире. До ареста я ездил к нему в гости почти каждую неделю. Больше сотни раз я побывал у него под Москвой на даче. На кухне у него работают чекисты — врачи и химики, специальный штат всяких поваров. Боясь отравления, он ест только то, что тщательным образом проверялось химическим анализом и контролем врачей.

Сталин не терпит никаких возражений и беспощадно расправляется с теми, кто высказывает их.

Джапаридзе снова остановился, глубоко вздохнул и продолжал:

— Когда в последний раз мне пришлось быть у него под Москвой и он, играя со мной на биллиарде, как бы мимоходом задал вопрос, остаюсь ли я попрежнему на своих позициях. — Я почувствовал, что судьба моя предрешена.

В конце нашей беседы я задал ему еще один вопрос:

— Шавла Фомич! Вот вы всю жизнь свою посвятили и отдали революции. Теперь, на восьмом десятке лет, вы сами попали под ее колеса... Хотели бы вы проснуться, скажем, в 1913 году и забыть весь этот советский кошмар?

— О, мой дорогой! С какой радостью я согласился

бы на это пробуждение даже с царскими кандалами на руках и ногах. Я проклинаяю тот день, когда впервые вступил на революционный путь и буду благословлять приход смерти, если она прервет мои страдания, которые Джугашвили хочет растянуть на восемь лет. Я уже живой труп. Вера Фигнер и Фроленко — те хоть утешают себя богоискательством и религией, а у меня и этого утешения нет! Ничего нет! Пустота... Ноль!

Джапаридзе умолк и стал нервно откашливаться.

## ДАВЫДОВ

Конвейер красного судилища начал свою работу с 9 часов утра. Нужно было пропустить через «тройку» НКВД 140 политических и бытовиков, находившихся в Житомирской тюрьме. Председатель «тройки», огромный детина, сидел в окружении двух чекистов-членов и секретаря-машинистки и красным карандашом отмечал «пропускавшиеся дела». Обвинительные заключения и приговоры по ним были уже заранее заготовлены в НКВД или Уголовном Розыске, отпечатаны на машинке и подшиты к делу каждого подсудимого. Огромная очередь арестантов всех возрастов с несколькими десятками женщин стояла в коридоре и прислушивалась к происходившей в следующей зале судебной комедии. По бокам очереди медленно ходили взад и вперед несколько человек следователей, которые должны были сопровождать своих подследственных. В дверях из коридора в зал и из зала в следующее помещение стояла внутренняя охрана с пустыми кобурами на поясах и наблюдала за поведением арестантов. Из зала доносились вопросы судей, ответы подсудимых, реплики следователей и охранников и сдержанный гул очереди.

К барьеру, отделявшему «суд» от остального пространства, подошел названный по фамилии очередной подсудимый Дубовик.

— Как звать? — спрашивает тройка.

— Иван Дубовик.

— Год рождения?

— 1915.

— За что арестован? Признаешь себя виновным?

Молчание

— За что посадили, — спрашиваю?

— За... антисоветские частушки.

— Три года лагерей. Давай, проходи!

— Следующий! Как звать? Год рождения?

— Павел Красуля, рожден в 1918 году.

— За что сидишь? Признаешь себя виновным?

— Нет, не признаю. Арестован по доносу ваших же провокаторов.

— Всё понятно. 5 лет и три поражения. Давай следующий!

К барьеру подходит мужчина лет сорока пяти, обросший волосами, босой, но с интеллигентным, хотя и измученным лицом. Он спокойно остановился и молча стал рассматривать сидевших за столом судей. Его обвиняли в бродяжничестве по 35 статье. Ему грозило еще три года изоляции в концлагерях.

— Ваша фамилия?

— Вечный советский арестант с перманентным потенциальным желанием избавиться от сатанинской опеки ЧК-ГПУ-НКВД и стать свободным человеком и гражданином...

В очереди пробежал одобрителный шопот десятка подсудимых. В задних рядах кто-то засмеялся.

— А ну, там, давай прекратить разговоры и смех!  
— засуетились следователи и охрана.

— Повторите, гражданин, что вы сказали? — настороженно и тревожно спросил председатель тройки, вглядываясь в стоящую перед барьером человеческую фигуру.

— Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь,  
— ответил подсудимый.



— Зачем вы его сюда привели? — вскричал председатель. — Убрать его в камеру и переквалифицировать состав преступления по 58 ст., 10-му пункту. Вы кто такой?

— Если гнали Меня, будут гнать и вас.

Очередь затихла и с захватывающим интересом следила за происходящим. Даже следователи с нарастающим любопытством стали осматривать человека, говорившего с таким бесстрашием.

— Убрать его! Давай, следующий!

---

...Сосну эту мы пилили целый день, уже к вечеру, когда сибирский мороз стал крепчать и серые тени поползли по лесным полянам и просекам, к нам подошел вольнонаемный десятник Адамчук и, кивая головою, насмешливо заметил:

— Ну, что, старики, сосенка ваша не сдастся? Ладно, сегодня условно выпишу вам по 600 гр. хлеба, а завтра свое наверстаете: кубиков на 10 делового будет, да кубиков пять дров!

Десятник отошел к другим группам и звеньям, рассыпанным по тайге, а мы еще энергичнее взялись допиливать ствол. Дерево уже было подрезано со всех сторон на всю длину полутораметровой пилы, но всё еще упорно стояло и не падало. До конца рабочего дня оставалось не более получаса, и нам хотелось во что бы то ни стало свалить эту махину... Промучились мы еще минут двадцать и, наконец, раздался треск, ствол вздрогнул, качнулся в одну сторону, еще раз крякнул и грозно стал валиться на землю. Мы отошли в противоположную сторону и, затаив дыхание, глядели, как умирало и падало величественное дерево, подпиленное нашими руками. Всей своей многотонной массой сосна со стоном грохнулась о землю и замерла. Гром и шум глухим лесным эхом покатались по тайге. Соседи по работе посмотрели в нашу сторону и одобрительно вы-

ругались по адресу сосны. За завтрашние проценты выработки мы были спокойны и могли позволить себе небольшой отдых, тем более, что рабочее время подходило уже к концу.

Давыдов сидел на громадном пне и считал его годовые кольца. Сосне было 520 лет. Он достал из кармана грязную тряпку, вытер лицо и проговорил:

— Вот это так деревцо! 520 лет! Росло себе да росло. Что год, то и колечко. Над его вершиной промчалось пять веков нашей истории, начиная Ермаком и кончая нашими днями, и никто его не трогал... А вот пришли мы — советские арестанты — и ее свалили... во имя... социализма. А что такое социализм, коммунизм? Что это — невинные теории, или то страшное, от чего уже начала содрогаться наша земля?

Измученные непосильной работой мы молча сидели и слушали Давыдова. А он говорил:

Всё спуталось на земном шаре. Черное стали называть белым, а белое черным, тьму светом, а свет тьмой, зло — добром, а добро — злом. Четырех евангелистов заменили Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным, храм — комсомольским клубом, или избой-читальней, бессмертную человеческую душу — бессмысленной физико-химической пляской атомов... Вместо свободного творческого труда мы имеем стахановщину, вместо вдохновения — социальный заказ, вместо благословенного Богом земледелия — колхозное рабство.

То, что еще вчера признавалось революционным или контрреволюционным, моральным или неморальным, сегодня эти понятия окончательно перепутались... Вчера Пугачев был великим бунтарем и революционером, а Суворов его душителем и палачом. А сегодня Пугачева объявляют чуть ли не врагом народа, а Суворова... великим полководцем... Величайшие злодеяния 1932-1933 г. — голод, уничтожение самой лучшей, самой трудолюбивой части нашего крестьянства, уничто-

жение последних остатков нашей интеллигенции, разрушение религии, миллионы расстрелянных и погибших в концлагерях — всё это оправдывается невинным словом — *диалектика*.

Для достижения всемирной большевистской революции все средства хороши!

И горе тому веку и живущим в нем, когда дела дьявольских диалектиков осуществляются!

Разве вы не читали в Апокалипсисе, в 13 главе, что «поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира»? А чтобы это могло случиться, они решили наши христианские понятия о добре и зле заменить вот этой самой хитрой диалектикой...

Нашу беседу прервал подошедший к нам снова Адамчук. Он записал нам 100%, сказал пару теплых слов, пересыпав свою речь добродушными ругательствами, и повел лесорубов к месту сбора всей бригады.

Было уже по зимнему темно. На небе загорались первые сибирские звезды. 40-градусный мороз снова стал обжигать лица и руки. Под охраной 3 конвоиров и 2 овчарок бригада из 26 лесорубов медленно пошла по глубокому снегу к санной дороге. А там еще 6 километров тяжелого пути до холодных бараков, обнесенных высоким досчатым забором, колючей проволокой, наблюдательными постами на углах, с яркими прожекторами и сигнальными красными огнями... Затем голодный ужин и тяжелый сон каторжника. А на утро, в 5 часов, снова подъем и снова то же самое сначала... И так долгие беспросветные годы...

## ЗА ЧТО?

«Были ли вы арестованы при советской власти? Если нет, то почему?».

Говорят, что Чичерин, бывший в свое время Наркоминделом, страдал сахарной болезнью, впадал в «антисоветскую меланхолию» и под ее влиянием часто острил. Но это была не острота. Это — была действительность!

Если с 1917 по 1935 было репрессировано 27 миллионов человек, а к началу войны эта цифра возросла еще на пять миллионов, особенно за годы ежовщины, то острота Чичерина станет не только понятной, но и страшной. Чтобы это понять, нужно было быть советским гражданином, нужно было перенести всё то, что мы перенесли.

В заключении, оказывая многим своим соузникам нелегальную юридическую помощь, в части подачи жалоб, кассаций и заявлений, мне пришлось очень подробно ознакомиться с сотнями «дел», которые привели несчастных в тюрьмы и концлагери.

С точки зрения любого, так называемого буржуазного государственного права, с точки зрения любого уголовного законодательства всех времен и народов и, наконец, здравого человеческого смысла, не изуродованного марксизмом, — все эти «составы преступлений» настолько абсурдны и смешны, что кажутся анекдотами и выдумкой. Здравому уму трудно поверить, чтобы человеку, который при чтении газеты «Изве-

стия», описывавшей подробности допроса обвиняемых по делу убийства Кирова, позволил себе улыбнуться, предъявили обвинение в «потенциальном сочувствии убийцам Кирова» и осудили на пять лет.

— Душевнобольная женщина, лет 55, находившаяся в колонии для умалишенных более 10 лет, была переведена в Сиблаг на пять лет за то, что плюнула на портрет Сталина. Она и в лагере продолжала бранить большевиков и за каждым ругательством швыряла в воздух камнями. При Ежове ее, кажется, расстреляли.

— Глухонемой попал в лагерь на пять лет за то, что кому-то мимикой показал на портрет Ленина или Сталина, приделывая им своими пальцами рога.

— Зубной врач-еврей, старик лет под 70, попал в Яйский лагерный пункт на три года за регулярное посещение синагоги.

— Матросик с какого-то советского парохода без разрешения капитана в Гдыне сошел на берег. Заподозренный в попытке к побегу за границу матросик был расстрелян, а всех его родственников, числом около 15 человек, с «пятерками» и «тройками» загнали в Сиблагери.

— Бухгалтер московского треста Сокольский позволил себе назначить свидание с машинисткой этого же треста Калябиной на Красной площади у остановки трамвая. Машинистка запоздала на 10 или 15 минут, и наш бухгалтер вынужден был пропустить несколько вагонов трамвая, вглядываясь в молодых женщин. На него обратили внимание агенты НКВД и пригласили на Лубянку. Через пару месяцев бухгалтер имел 10 лет по 8 пункту 58 статьи (подозрение в подкарауливании членов правительства с террористической целью) и по Великому сибирскому пути ехал на восток.

— Член партии, отдохавший в Сочи, имел неосторожность забрести в зону, за которой «почивал вождь мирового пролетариата». Выскочившие из-за кустов

агенты ГПУ схватили растерявшегося коммуниста и потащили в ГПУ. Через несколько месяцев Сочинский курортник ехал с нами в одном поезде на восток. (Подозрение в террористических намерениях).

— Двое часовых дежурили у Красных ворот, ведущих в Кремль. Переодетый агент НКВД предъявил им фальшивый пропуск — его пропустили в Кремль. Провинившихся часовых отдали под суд. Одного расстреляли, а другого с «десяткой» прислали к нам в Заполярье.

— Бывший «кулак», находившийся в ссылке на Урале, за чтение Библии среди ссыльно-поселенцев был переведен в Сиблаг на пять лет за «контрреволюционную агитацию».

— Рабочий одного лесопильного завода, Митяев, получил пять лет концлагерей за «контрреволюционную пропаганду»: уклонился от подписки на заём.

— Бухгалтер одного сибирского комбината имел немецкую фамилию Киндерман и отчество Карлович. Ему создали дело и дали 10 лет.

— Колхозник Карпович за отказ сотрудничать сексотом в пограничном с Польшей городке был наказан пятью годами за «подозрение в шпионской деятельности».

— Строительный техник Великанов из Воронежа имел пять лет за «антисоветскую агитацию», выразившуюся в том, что в кругу своих сослуживцев по техническому отделу назвал Калинина «заведывающим советской властью».

— Известного богослова и математика Павла Флоренского, за отказ отречься от священнического сана, осудили на десять лет.

И так далее, и так далее...

60% всех дел, с которыми мне пришлось познакомиться, были созданы в подвалах НКВД и подписаны под разными угрозами, избиениями и пытками.

— Механика — подводника Черноморского флота Максимова, человека огромного роста и внушительной силы пытали шесть палачей. Ему клали на грудь доски, по которым били потом пудовыми гирями. Когда у него горлом пошла кровь, он согласился подписать обвинение.

— Командующего Черноморским флотом Орлова и 40 других командиров расстреляли, Максимову же дали 15 лет. На вопрос, за что же ему столько дали, он отвечал: «Не знаю».

— Бывшего редактора одной столичной газеты пытали сиденьем на стуле. После трехсуточного сидения у него стала выпадать прямая кишка.

— Инженера Смирнова из-под Москвы заставили стоять возле самой стены, касаясь ее лицом и носками ног. После трехдневного непрерывного стояния и нескольких обмороков с пытками обвинение во «вредительстве» было подписано. Смирному дали 15 лет и прислали в Заполярье.

— Группу латышей из-под Томска обвинили в «сочувствии в организации Папой Римским крестового похода против СССР». Их приговорили к высшей мере наказания, всех перевязали и с резиновыми «грушами» во рту повезли в лес расстреливать. 10 или 11 приговоренных были расстреляны, а оставшемуся Алкснису в последнюю минуту расстрел заменили 10 годами. Потом он часто вспоминал: «Этой резиновой «груши» я никогда не забуду!».

Когда в 1938 году он отбыл последний год, Москва прислала ему еще пять лет. Он в отчаянии собирался было покончить с собой, но прошло некоторое время, Алкснис превозмог себя и снова потянул лагерную лямку. Он работал по технормированию и это спасало его от тяжелой физической работы.

— Одного арестованного пытали таким способом: его в вертикальном положении подымали вверх и задней

частью туловища быстро опускали на бетонный пол. От такого удара у человека обрывались внутренности, шла кровь горлом и носом. После нескольких «посадок» пытаемый потерял сознание.

Иногда обвиняемым удавалось, проходя через какой-нибудь суд или трибунал, заявлять, о том, что его пытали в НКВД. Суд ему отвечал:

— Не клеветайте, гражданин, на органы государственной безопасности. На вас нет никаких следов от выдуманных вами же пыток, да вам никто и верить не станет. Советская власть — это не какие-нибудь капиталисты или фашисты, где всё основано на терроре и насилии. У нас этого нет, не лгите, гражданин!

— Инженера Кульчицкого пытали особым образом. Когда следователь угощал его вкусными пирожками со сладким чаем и ароматной сигарой, из соседней комнаты начали раздаваться душераздирающие крики его жены и малолетней дочери.

«Слышите, Кульчицкий, если вы не подпишете всего, что мы вам предложили, эти крики будут еще ужаснее! Пожалейте их...».

Инженер потерял сознание. Его привели в чувство и снова предложили подписать протокол об организованной им большой вредительской группе.

Что делали в НКВД с его женой и девочкой, он так и не узнал. В лагерь его привезли с 15 годами.

Наиболее страшными были пытки в московском Лефортовском отделе Лубянки.

Москвичи хорошо знали, что значит слово Лефортово. Некоторым следователь говорил:

— Ну, что же — раз вы, гражданин, не сознаетесь, придется отправить вас в Лефортово.

Многие туда попадали, но выходили оттуда единицы.

Заклученного З. ночью вывели из тюрьмы, посадили в автомобиль и повезли... на кладбище. Возле во-



рот кладбища машина остановилась, и чекисты стали о чем-то шептаться. Прошло несколько страшных минут. Потом машину повернули обратно и привезли его снова в тюрьму. На следующий день его вызвали к следователю. Дрожащей рукой несчастный подписал сочиненное следователем обвинение. Следователь чуть заметно ухмылялся.

— Агронома И. пытали бессонницей. В продолжение нескольких суток ему не давали спать. На третью ночь агроном впал в забытие. Его обливали холодной водой, давали нюхать нашатырь, щекотали в носу, но пытаемый не приходил в себя. Наконец, его разбудили пинками в бок и подбородок. Агроном схватил ручку, подписал поданный ему протокол и снова погрузился в забытие. В камеру привели его под руки спящим... Он был похож на мертвеца.

— Заключение О. избивали валенком со вложенной в него 5 килограммовой гирей. Били в область почек и живота. В концлагере он прожил всего один год.

Когда меня обвиняли в антисоветских разговорах и настроениях, я сказал своему следователю:

— В таком случае вам придется арестовать почти всех граждан СССР, так как они так же думают и настроены, как и я. Если вы, закрыв глаза, опустите свою руку на любую улицу любого города СССР и возьмете любой десяток первых попавшихся вам граждан и спросите их, они вам скажут то же, что и я.

— Да, — ответил мне следователь, — это верно. Но они молчат, а вы болтали языком.

## СТРОИТЕЛЬСТВО НОРИЛЬСКА

«Ужасный край. Оттуда прочь бежит и зверь лесной,  
Когда стосуточная ночь повиснет над страной...»

*Некрасов*

Енисей... Пятая по величине река в мире. Беря начало в горах Внутренней Монголии и пробегая всю Сибирь с юга на север, она впадает в Карское море, являющееся частью Северного Ледовитого Океана. Приближаясь к своему устью, у поселка Дудинка, река становится настолько величественной и широкой, что весной, когда она разливается километров на сто, не всегда можно увидеть противоположный берег. Эту часть реки называют Енисейской Губой. Даже зимой ширина ее доходит до 60 километров.

История земли говорит нам, что здесь когда-то был тропический климат, а в папоротниковых рощах водились мамонты и другие допотопные животные, кости которых не раз обнаруживали в бассейнах Енисея, Лены и других сибирских рек. Присутствие угольных отложений в ближайших горах также свидетельствует о том, что здесь росли астерофилиты и папоротниковые массивы. Теперь же, десятки тысяч лет спустя, всё замерло и спит непробудным сном вечной мерзлоты, скованной 60-ти градусными холодами в течение 300 дней в году. Спят тысячелетия, и в этой геологической летаргии пребывают необозримые пространства от полярного круга до берегов Океана.

Тайга. Лесотундра. Тундра. А у самого океана — голые скалы, белеющие вечными снегами; небольшие горы и хребты; и такой чистый, прозрачный воздух. Иногда можно натолкнуться здесь на небольшие стойбища ненцев или долган — туземцев, но их так мало в тундре, что по самым смелым подсчетам вряд ли хватит одного человека на два-три квадратных километра. Они занимаются охотой на пушного зверя, ловлей рыбы и примитивным оленеводством. Добычу свою сдают на советские фактории и получают взамен советские бумажные деньги, охотничьи принадлежности, дешевенькую одежонку, посуду, патефоны, игрушки, водку и разную мелочь. Меха первосортного голубого песца заготовители «Союзпушнины» легко достают у туземцев за какую-нибудь безделушку или за несколько литров водки. Разумеется, что на этом деле, в первую очередь, наживаются заготовители, затем уж и «социалистическое» государство.

Туземцы кочуют. Зимой они приближаются к лесотундре, где легче бороться с суровой полярной зимой, а летом снова переселяются поближе к берегам океана, где не так нападают на людей и оленей страшные тучи полярного комара и мошкары, от которых можно оборониться только с помощью накомарника и клубов густого вонючего дыма. В течение короткого лета, которое начинается здесь в первых числах июня и кончается уже в первых числах августа, несметные стаи диких гусей, журавлей, куликов и других пернатых спешат вывести свое потомство, чтобы к концу августа поднять его «на крылья» и лететь к далекому югу. Но часть птиц уже приспособилась к суровой полярной зиме и, сменив пестрые летние наряды на белое оперение, мужественно переносит все невзгоды длинной зимовки. Миллионы белых куропаток наиболее приспособлены к этим тяжелым условиям. Их можно там встретить на всем пространстве бесконечной

тундры. Но когда здесь появились «люди ГУЛАГ-а», птица, гонимая голодными заключенными, отступила на север и восток. Также из этих мест ушли и белые звери. Даже глупые белые и голубые песцы, которых мы ловили почти голыми руками, поняли в чем дело и ушли подальше от района Дудинки-Норильск. Это явление заключенные в шутку объясняли, что, мол, дескать, и зверье прошло «политминимум советской перековки» и теперь его антисоветским анекдотом не возьмешь.

Шестьдесят девятая параллель северной широты. Триста километров от Игарки и столько же от полярного круга. Дудинка. Усть-Енисейский порт. Остров Диксон. Восточнее, в самом центре Таймыра, силы природы образовали громаднейшее озеро Пясино, соединив его с океаном рекой Пясинка, по которой из океана ходили караваны судов с материалами и оборудованием для Норильского Комбината. С юга в это озеро впадает речка Валек, которая также может пропускать небольшие баржи с грузом, и на одном из ее загибов был сооружен временный речной порт для разгрузки судов. С западной стороны Валек принимает в себя небольшой приток Норилку, вытекающую из-за небольшого хребта Норильских гор.

По прямой, между Дудинкой и этими горами, изыскателями было определено расстояние в 130 км. У подножия этих гор должен быть построен город Норильск, а рядом Норильский Полиметаллический Комбинат. Это расстояние нужно было перекрыть узкоколейной железной дорогой и проложить воздушную трассу для гидропланов. Тогда установится непрерывная связь с Дудинкой, а затем дальше, вверх по Енисею, до Игарки — Туруханска — Енисейска и Красноярска с выходом на Сибирскую магистраль. Чтобы все эти планы осуществить, нужно было бы, по предварительным подсчетам, затратить не меньше 600 миллионов золотых

рублей и сотни миллионов дешевых рабских человеко-трудодней.

Большевики готовились к надвигающейся войне, закончить которую рассчитывали мировой пролетарской революцией. Большевикам нужны были дефицитные металлы: платина, серебро, золото, никель. Нужны были большие залежи урановых руд. Нужен был уголь для Великого Северного Морского Пути. Нужно было разгрузить Европейскую часть владений ГУЛАГ-а от вновь прибывающих миллионов жертв Кировского набора и Ежовской чистки. Нужны были «режимные» лагеря для тех, кто в обыкновенных концлагерях мог быть опасным. И заполярная тундра оказалась вполне пригодным местом для этих «высокопоставленных» зэ-ка. Сюда были присланы из изоляторов Европейской части Союза — Раковский, сестра Ягоды, жена Косарева, секретарь Ежова, заместитель Ворошилова по отделу точной механики, командарм Эрлих, сын Украинского «премьера» Любченко, много работников и членов последних конгрессов Коминтерна, членов «братских компартий» и прочей международной головорезной публики. Здесь же очутились лидеры бывшего «Общества Политкаторжан царской каторги», как Шавла Фомич Джапаридзе, друг и соратник Сталина; Виленский-Сибиряков — бывший редактор журнала «Каторга и ссылка»; Петриоковский, Кулаков и другие. К концу тридцатых годов Норильский режимный концлагерь насчитывал уже более двадцати тысяч «высокопоставленных зэ-ка», около десяти тысяч обыкновенных серых подсоветских рабов и более пяти тысяч так называемых «вольнонаемных служащих Комбината», попавших в это гиблое место «в добровольно-принудительном порядке» по непреклонному желанию НКВД.

Норильские «историки» из числа тех, которые хотели «досрочно» освободиться из заключения, якобы нашли в каких-то архивах переписку Петровского Сената

с Сибирским начальством того времени, которое писало в Петербург, что сосланный в Дудинский поселок за «старую веру» купец Нориллов донес ему, что в ста верстах от этого поселка он нашел «серебряную гору». И ежели его, Нориллова, освободят отсюда, то он поможет разрыть эту гору и обогатит царскую казну. По словам тех же «историков», Петр Великий счел это предприятие неосуществимым, от предложения Нориллова отказался, а ему приказал доживать свои дни в Дудинке. Купец умер, а гору называли именем покойника.

Действительно, в горе этой была обнаружена богатейшая руда, из которой можно было выплавить в среднем не меньше 12% благородных и дефицитных металлов. Попадались даже отдельные слои залежей руды, дававшие 30% выхода металлов, а в золотоносном песке по речке Норилке находили самородки в несколько фунтов. И рядом, в той же горе, были залежи хорошего каменного угля, толстыми пластами выходящего наружу. Геологи предсказывали, что в глубине горы будет найден антрацит и коксующий уголь.

Кем-то наученные туземцы уже давно начали ковырять эту руду и вывозили ее к берегам океана и Енисея, где за бесценок продавали русским и иностранцам. Но только в конце прошлого столетия этими приисками заинтересовалась какая-то смешанная англо-русская компания и начала систематическую разработку руд и обработку их в небольшой кустарной печи. Дальше рассказы «историков» были построены так, что, мол, там, где царское правительство не было в состоянии что-нибудь сделать, Советская власть, вооруженная последними достижениями науки и техники, а, главное, конечно, под руководством «мудрейшего» заставила вечную мерзлоту отдать хранящиеся в ее недрах клады природы, ибо, как всем известно, «нет таких крепостей, которые не могли быть взяты большевиками».

И вот летом 1935 года, большевики приступили к

«штурму» этой заполярной «крепости». Неофициально передавалось, что «сам» Сталин, подражая Николаю Первому, якобы взял линейку, наложил ее на карту Таймырского полуострова и движением карандаша провел прямую между Дудинкой и Норильской горой, приказав, чтобы узкоколейка была построена в три года, Полиметаллический Комбинат и порт в Дудинке — в пять лет, а сам город Норильск с тюрьмой и зданием НКВД — постепенно. Но рассказчики, очевидно, перепутали очередность стройки, т. к. дорога еще не была готова, как тюрьма и здание для лагерного НКВД (3-й Отдел) уже были «сданы в эксплуатацию». К концу третьего года строительства громадная деревянная тюрьма уже была переполнена узниками всех рангов и статей. Правда, расстреливать выводили всё еще за Рудную Гору, но это уже каприз НКВД...

Начальником этого самого «штурма» был назначен старый испытанный большевик, тов. Матвеев, случайно попавший в число работников ГУЛАГ-а. Про него говорили, что в роли политработника при штабе Средне-Азиатского В. О. он приказал расстрелять две тысячи басмачей, сдавшихся красным карательным отрядам на «честное большевистское слово». Они ему поверили, а Матвеев велел всех до одного уничтожить. Дошло до Москвы. Ему дали условно 10 лет и послали «благоустраивать» любимый город вождя — Сочи. Пригнали туда около трех тысяч заключенных — «бытовиков». На Мацесте устроили для них концлагерь и взялись за работу. Но на арестантов обратили внимание отдохавшие здесь иностранные «товарищи», поднялся шум, посыпались нежелательные запросы о принудительном труде в СССР. И одной «темной ночью», по-воровски, неожиданно весь Сочинский концлагерь был погружен в эшелоны и направлен на восток. С Матвеева же сняли судимость и послали «штурмовать» тундру. В Дудинке его ждала небольшая партия инженерно-технических

**работников** и вспомогательных рабочих из заключенных, **набранных** из разных сибирских лагерей. С ними он и **приступил** к работе. Нужно было произвести новые **изыскания** по прокладке трассы в Норильск, измерить **русло Енисея** у берегов Дудинки, углубить георазведку **на уголь, нефть и руду**, изучить торфяные образования, **атмосферные явления** в стосуточную полярную ночь с **северным сиянием**, действие 65-градусного мороза на **строительные металлы**, силу «черной пурги» и 25-метрового подъема талых вод Енисея в районе Дудинки. Кроме этих работ, требовалось построить небольшую **электростанцию**, деревянный двухэтажный дом для «командования лагеря», несколько летних бараков для зэ-ка и несколько хибарок для технической и санитарной части.

Прибывшей партии зэ-ка было сказано, что они будут жить и работать без конвоя, будут пользоваться красноармейским пайком с витаминной добавкой и первосрочным лагерным обмундированием. Связь с «материком» обещалась с помощью гидропланов и радио, а через несколько лет предвиделось досрочное освобождение для тех, кто «честно искупит свою вину перед советской властью». Остальное же, т. е. каторжная десятичасовая работа в тяжелых условиях заполярья, зимой (полярной ночью) в масках, а летом — в накомарниках и в дыму, при 40-50 градусном холоде и страшной пурге, — это уже зависело от самих заключенных. Отказчикам и саботажникам грозили «Макаром и его телятами», хотя дальше некуда гонять этих бедных телят. Дальше был Ледовитый океан, безграничная белая пустыня и смутные надежды на побег. Но кто мог мечтать о побеге, когда до Красноярска было 2.327 километров, а Уральский перевал казался видением больной фантазии.

Правда, несколько человек из этой партии заключенных всё же бежали. Один из беглецов добрался до



Ташкента и оттуда уведомил друзей о благополучном путешествии по стойбищам туземцев, затем по Сибирскому пути до Средней Азии. Остальных же долгане переловили и привели в Дудинку. «Охотники на людей» в награду за свою доблесть получили по «сталинской» трубке и большое количество водки и табаку. Потом уже, спустя некоторое время, почти все туземцы ретиво охотились за бегущими зэ-ка и немилосердно были с ними жестоки, когда те попадались в их лапы. Советская идеология начала внедряться в сознание и этих когда-то добродушных людей.

Летом 1936 года Матвеев мог донести в Москву, что «задание партии и правительства» выполнено на 105%. Норильский концлагерь мог теперь принять несколько тысяч новых зэ-ка, которые и были привезены из Красноярска. И эта партия пользовалась еще теми условиями жизни и работы, как и первая партия. Но с продвижением вглубь тундры, когда надо было переселяться вслед за прокладкой трассы, бытовые условия жизни и работы резко ухудшились.. Когда, например, в Дудинском лагпункте кормили более-менее сносно, в тундре на новоорганизованных командировках люди голодали и чуть не дошли до людоедства. Только с окончанием полярной ночи, когда стало возможным забросить им гужевым путем первую помощь, эти лагпункты стали понемногу отходить. Это толкнуло многих на побег.

Летом закончена прокладка узкоколейки по снежным насыпям до самого Норильска. С небольшим составом вагонов был отправлен туда первый поезд «первой в мире» заполярной железной дороги. Поезд кое-как преодолел эти 130 километров, добрался до Норильска и доставил туда первую «символическую» партию груза, а оттуда привез в Дудинку такую же «символическую» партию норильского угля и руды. Поезд был встречен в Дудинке «организованной» толпой зэ-ка и «вольно-

наемных», и, под тощие крики «ура», тут же была сфабрикована радиограмма для «мудрейшего», что «под его гениальнейшим руководством» строители Комбината штурмом взяли первые бастионы этой неприступной заполярной крепости; сквозное сообщение по первой в мире заполярной ж. д. между Дудинкой и Норильском открыто... Потом шли фразы о преданности, любви к вождю и прочее вранье. О «Макаре с его телятами» никто не вспоминал и никому и в голову не приходило, что через полгода случится так, что сам тов. Матвеев попадет к этому самому Макару с телятами, который для этого случая окажется где-то в районе Колымы и ее окрестностей. В начале 1938 года Матвеев был арестован и с «десятью годами» переведен на Колыму. Его недруги из урок вслед ему припевали:

Летит батя в Колыму  
На хвосте кометы.  
Ничего я не пойму  
В сталинском балете.  
Передай же всем привет  
От нашего брата,  
И покрепче обнимись  
С тачкой и лопатой.  
И тогда ты сам поймешь  
Тайну перековки,  
Станешь нашим паханом,  
Женим на воровке...

Перед этим весь состав заключенных Норильлага внезапно был законвоирован, опутан колючей проволокой с зонами и вышками, превращен в тюрьму. Политических отделили от бытовиков и поместили в изоляторы и особые режимные лагпункты — Ковергон, Валек, Кирпичный завод, Дудинский особый изолятор. Заработала «тройка» НКВД. Пошли расстрелы. В продолжение всей полярной ночи, небольшими партиями обреченных выводили за Рудную гору и там расстреливали. Трупы зарывали так плохо в мерзлый грунт, что потом, когда

снег стоял, георазведчики видели братские могилы с торчащими из них человеческими телами. Расстреляны были в первую очередь «тяжеловесы». В их числе много технической интеллигенции, один раввин-сионист, один православный епископ из Киева, врач Сорока, доктор Чайковский, доцент Дроздовский, сотни людей из Польши, Молдавии и Прибалтики. Было уничтожено много и рядовых заключенных за неосторожные разговоры уже в лагере. Автор этих строк тоже ожидал своей очереди, когда вдруг пронесся слух: «В клубе смертников сняли портрет Ежова...». На следующий день арестовано было всё лагерное НКВД. Расстрелы прекратились. Часть смертников перевели в обыкновенные лагпункты. Бытовиков «расконвоировали». Политическим и религиозным заключенным было разрешено снова работать по специальности. Все облегченно вздохнули, хотя и не полной грудью. Вот тогда-то и убрали Матвеева, а на его место прислали из Москвы некоего Завенягина. Говорили, что его карьера была сделана на костях 100 тысяч ссыльных и заключенных, построивших знаменитый Магнитогорск.

Летом 1938 года была закончена железная дорога и вчерне оборудован Дудинский порт. Норильский Комбинат уже пустил в эксплуатацию два кирпичных и один керамзитовый завод; две больших электростанции, давшие свет всему Норильску; гипсовый завод и малый металлургический с небольшой доменной печью. Были пущены две угольных и одна рудная штольни. Установили одну драгу для промывки золота и построили лабораторию для изучения ураноносных руд. Были возведены десятки многоэтажных зданий, каменных и деревянных, для заключенных и вольнонаемных, проложено шоссе по будущей главной улице города, выстроены больница, тюрьма, изолятор НКВД, здание военизированной охраны, лесопилка и лесосушилка для сушки сплавляемых с верховьев Енисея миллионов кубометров

строевого леса. Остальные же строительные объекты, как большой металлургический завод, заполярное огородничество, молочная ферма, театр, школа и главная электростанция находились уже в процессе постройки.

Осенью того же года как раз и прибыл громадный этап с упомянутыми ранее «вельможными каторжанами». Их было около 20 тысяч и большинство из них теперь ничем не отличалось от несчастных колхозников времен сталинского голода на Украине и Кубани 1932-1933 годов. Их вели рядами, а они шатаясь и еле передвигая ноги, медленно расходились в отведенные им помещения. Многие падали на дороге и тут же «доходили». Иных подбирали и относили в больницу, где эти доходяги и пелагрики безропотно умирали. Сколько их умерло — сказать трудно.

Некоторые из старых лагерников среди этих «акул» узнавали своих следователей и прокуроров. Кое-кого избивали и даже убивали ночью в темных углах лагеря. Сестру Ягоды, секретаря Ежова, жену Косарева и других «вельможных особ» пришлось отделить от прочих заключенных во избежание «нежелательных инцидентов». Спустя месяц лагерное начальство решило отделаться от «доходяг» и отослало их обратно в Красноярск. Позже пришло еще несколько этапов, и лагерь стал готовиться к пятой заполярной зиме.

Вечером 1 сентября 1939 года, по Норильлагу поползли слухи: «война... Сталин заключил союз с Гитлером... германская авиация громит Польшу...». — «Что день грядущий нам готовит?», тихонько перешептывались между собой зэ-ка. Одни были как-то странно воодушевлены, другие удивлены, третьи подавлены и растеряны. Защемило сердце в тревоге за судьбу родных и близких, оставшихся там на западе...

Мне хочется закончить эти строки нелегальной лагерной песней, которую заключенные потихоньку пели

на мотив старой каторжанской песни «Когда над Сибирью займется заря»:

«Когда утром Норильский гудок прогудит  
И по тундре полетит волною,  
По баракам встает  
Очумелый народ  
И на кухню спешит за едою.

Вот «баланду» поели, чтоб голод унять,  
И, под ругань и крик горлохватов,  
Все спешат на развод,  
Где стоят у ворот  
Все начальники грозным квадратом.

И под запись дежурных и окрик стрелков  
Потянулись угрюмо бригады,  
А за ними конвой,  
Отравлённый злобой,  
Подгоиет штыком да прикладом.

Вот пришли на работу. Тяжелым трудом  
Выполняя задание дневное,  
Проклинают они  
Всё святое земли  
И несчастье свое роковое...

А часов через десять, с вечерним гудком,  
Возвращаются в лагерь бригады.  
Еле-еле идут,  
Словно тени бредут,  
А конвой всё штыком да прикладом.

И по мрачным баракам «баландой» опять  
Заедают дневное задание.  
Только отдых ночной  
Да короткий покой  
Облегчает немые страдания.

Но и ночью во сне слышны стоны людей  
И кошмарная бредь разговоров.  
А пурга за окном  
Всё твердит об одном —  
О годах беспросветного горя.

И немногим страдальцам придется отбыть  
Эти годы в суровой Сибири:  
Иль желанный конец  
Принесет им свинец,  
Иль режимом загонит в могилу.

И над этим «соцраем» в эфире ночном  
Москва пляшет фокстроты лихие.  
А ей бесы толпой  
Рукоплещут под вой  
Обожравшейся властью стихии...».

## О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

Когда срок моего заключения стал приближаться к концу, или, как говорят в лагере, «к звонку», я был далек от всяких иллюзий по части того, что меня ожидало на «воле». Единственно, что влекло меня туда — это моя семья, находившаяся в ужасном материальном положении... Я боялся «довеска» не потому, что пришлось бы отбывать новый срок, а потому, что должен был помочь семье и ради этого мне нужно было освободиться и ехать к ней.

Обычно, за месяц до освобождения, заключенного переводили в центральный лагпункт, где сосредоточены все отделы Управления лагеря и здесь его «обрабатывали». Когда же до конца срока мне оставалось месяц и из Н-ского лагерного пункта меня не вывезли в К-ск, я был охвачен тревогой... В Н-ке находилось всего лишь пятьсот человек арестантов и многие из них также кончали свои сроки и через два-три месяца ожидали вызова в К-ск. Неопределенность моего положения их ввергала в уныние. Если сегодня дадут новый срок одному, то почему завтра не может случиться это с другими? И где бы я не появлялся в лагере: возле кухни, в бане, на работе — везде меня останавливали и спрашивали: «Что такое, что вас не вызывают в К-ск? Уже осталось вам меньше месяца, а «они» молчат, хотя бы вам... того... не прибавили»...

Всякий, кто побывал в заключении, знает, как быстро там время летит... Особенно быстро оно летит в советских лагерях. Но моя последняя неделя тянулась ужасно медленно и тяжело. Я верил, что без Божьей воли и волос не упадет с головы моей, и эта вера

укрепляла меня в терпении. Я знал, что мое освобождение зависит от Москвы и строил всякие предположения. Приближалось 10 января — день, когда я должен уже быть освобожден. Но никаких признаков этого не было. Местная администрация отнекивалась незнанием, а Москва молчала.

Но не молчало Провидение.

10 утром меня вызвали в контору лагпункта, а через полчаса посадили в обыкновенные однолошадные сани и с одним конвоиром отправили в К-ск. Нужно было за два дня проехать 120 км. и я, в роли возницы, всё время подхлестывал шуструю сибирскую коняку, чтобы засветло добраться до ночлега. В дороге, боясь нападения волков, конвоир непрерывно торопил меня: «Давай, давай». И всё же только поздней ночью добрались мы до первого постоянного двора и остановились на ночевку. Конвоир повел меня к начальнику местной милиции, чтобы сдать «на хранение», но последний ответил, что у него специальных камер для этапников нет, а в холодный подвал поместить меня он не имеет права, чтобы «не отвечать ему за замерзшего человека». Я был возвращен на постоянный двор, где и проспал вместе с конвоиром на двух, рядом стоявших кроватях.

Вторую ночь ночевали в каком-то грязном колхозном дворе вместе с колхозником.

Утром подошел к нам один из колхозников и, протягивая ко мне свою руку, сказал:

— Вот вы потеряли какой-то узелок... кажется деньги. Я нашел их вот здесь...

Он посмотрел сперва на конвоира, потом на меня. Я полез в карман. Он был пуст. Последние сто рублей были утеряны, а этот неизвестный мне колхозник возвращал их. Как я ему был благодарен. Я ему крепко пожимал руку, а он молча стоял перед нами и радостно улыбался влажными глазами. Я видел и чувствовал, что он переживал в это время, и мне тоже было радо-



стно и за себя и за него! Может быть, он тоже был религиозным человеком и догадывался, почему я находился в соседстве с вооруженным охранником. Хотя по тогдашним ценам это были и небольшие деньги, но ведь дело было не в них. Суть была в душевных переживаниях человека, отдавшего мне их, и в той радости, которую мы в этот момент оба ощутили.

К обеду третьего дня мы добрались до К-ска. Это был мой последний этап, приведший меня к освобождению. Сдавая меня в лагерь, конвоир проговорил:

— Ну вот, если бы все такие были заключенные, как это вы, тогда бы было дело другое.

Но что он, этот бывший крестьянский сын из Черниговщины, подразумевал под «другим делом», узнать мне не удалось, т. к. на меня сразу же набросились два вахтера и стали обыскивать.

13 числа меня стали «обрабатывать», а 14 я был на свободе.

Выписывая мне «путевку в жизнь» — справку об отбытии наказания, в которой также указывалось и будущее мое место жительства, работник УРО перелистывал толстую книгу и подыскивал для меня подходящую область.

Потом мне растолковали, что эта толстая книга, которую зэ-ка называли «Талмудом», является указателем для УРО, куда девать освободившихся «контриков». Указатель был разделен на главы, или пункты, соответственно пунктам 58 статьи. Согласно им, мне возбранялось проживать в столицах, крупных городах, промышленных центрах, в приморских и пограничных районах, на своей родине и в районе, где проживал до своего ареста. Все эти запрещения и ограничения выражались одной многозначительной формулой: — 40 (минус сорок).

Я освобождался из заключения, но как освобождался? С пятном и документами «контрика» меня при-

крепляли к определенной территории, чтобы режим коммунистической деспотии я чувствовал особенно остро. Чтобы в любое время можно было снова меня взять и запереть в тюрьму или лагерь. Чтобы всегда иметь меня на глазах и контролировать не только мое поведение, но и мою душу...

На лагерной вахте меня еще раз, и уже последний, снова обыскали, перечитали мою справку об освобождении, открыли двери на улицу и выпустили.

Я шел мимо мрачных и грязных бараков, в которых, очевидно, находились «вольнонаемные» из бывших «кулаков» и старался освоиться с новым своим положением. «Неужели я освобожден?» — шептал я, не веря тому, что я действительно был уже на свободе и направлялся в местную милицию за паспортом. Какое-то женское изможденное лицо показалось в дверях одного из бараков и многозначительно закивало головой, глядя на мои грязные узлы за плечами. Мне казалось, что все на меня смотрят, что меня остановят... Но в то же время я чувствовал, что пройду все мытарства, приеду к семье и еще узнаю другую жизнь... Зайдя за какой-то угол, я остановился передохнуть, взглянул на зимнее сибирское небо и в тот же момент в памяти моей загорелось дорогое утешение из 26 псалма: «Господь, свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей: кого мне страшиться?».

Как в Заполярьи, так и в Н-ке, многие союзники просили меня, когда я освобожусь, чтобы навестить их семьи, или же послать весточки о них. Около десяти адресов пришлось заучивать наизусть. Выпуская на свободу арестанта, энкаведисты очень тщательно его обыскивали, и единственным путем нелегальной передачи сведений была память. Когда в последний раз меня обыскивали на вахте, старший дежурный строго спросил:

— Письма на волю есть?

— Нет, — ответил я спокойно: они все были в моей памяти.

— Адреса на волю имеешь?

— Нет.

— Ну, а если найдем?

— Ищите.

— Ну, ладно, проваливай!

Таким образом я вынес на свободу возможность передать несчастным осиротелым семьям просьбы и желания их отцов, мужей и сыновей.

В голове мелькали:

...Иркутск, ул... № 13, Ташкент... ул. № —, Челябинск, ул... № 17, Харьков, ул... № 36, Сталинград, ул... № 45, Москва, площадь Маяковского, дом... Киев, Подол, улица Урицкого, №... Ленинград, Васильевский остров, №...

И еще было два адреса: в Пинск и в Тифлис... Хотелось исполнить просьбы всех, хотя бы посылкой открытки. Конечно, заехать я мог бы только к тем, кто был мне по дороге: К-ск — Красноярск — Новосибирск, — Казань — Москва — Харьков — Ростов.

Но и в этом случае нужно было быть весьма осторожным, т. к. в крупных городах всех шатавшихся по улицам в лагерной одежде немедленно «подбирали», давали 35 статью и направляли обратно в лагерь.

«Талмудист» из УРО предупредил меня:

— Смотрите, будете ехать через Москву, не окопачивайтесь зря в городе, а с поезда — на поезд, чтобы 35-ю не поймать.

Я ему поддакнул, но всё же решил в Москву заглянуть, найти нужную мне семью и сообщить ей о ее отце — инженере Н., который был лишен права переписки. Он в К-ке слезно умолял меня посетить его несчастную семью и рассказать о том, что ему пришлось пережить с 1937 года...

Козловский просил написать жене его в Пинск. При

поляках он «делал революцию», возглавлял рабочий комитет в Пинске, руководил забастовками. Как украинца, поляки его вместе с двумя детьми вышвырнули в СССР, а жену-польку оставили в Пинске. НКВД ему дало 10 лет лагерей, а детей забрали в Гомельский детдом. Но это было в 1935 году, а теперь Пинск был советский и Козловский просил связать его с женой.

Бывший редактор одной большой газеты просил написать его сестре.

Я лежал на верхней полке вагона 3-го класса, а поезд мчал меня по транссибирскому пути в Европу. До Москвы я ехал 8 дней и так хотелось есть, есть, есть.

На станциях продавались только полугнилые соленые огурцы по рублю штука. Хлеба и других продуктов нигде нельзя было достать, хотя войны-то еще и не было, если не считать войну с Финляндией, с которой воевал один лишь «Ленинградский военный округ».

Где-то в пути, между Новосибирском и Уралом ехавшая вместе со мной в одном вагоне «командирша» продала мне один хлеб и это немного поддержало меня. Под ее сиденьем ехал «заяц». Она заметила, сообщила кондуктору и молодого парня в лагерной одежде потащили из вагона. Оказалось, что он бежал из какого-то лагеря и пытался выбраться из Сибири.

— И вам не жалко было его выдавать? — спросил я «командиршу», когда беглеца увели.

— А чего же его жалеть? — совершенно спокойно и с удивлением отвечала она.

— А если бы это был ваш брат или муж, вы также поступили бы? — вновь задал я вопрос, вглядываясь в ее лицо.

— И их бы выдала, если бы они поступали неправильно! — отвечала она без всякого смущения.

Я замолчал и подумал: «Эта вышла из «сталинского племени», она в состоянии предать кого угодно, хоть родного отца или мужа»...

В Казани еще удалось купить один хлеб и с ним уже доехать до Москвы, где можно было достать еды.

Ночью пошел разыскивать семью инженера. Проехал несколько станций в метро, нашел нужную мне улицу и дом, поднялся в лифте на 7-й этаж и нерешительно позвонил в темную дверь, на которой виднелся номер квартиры. На звонок выглянула старушка, затем она позвала жену инженера Н. и обе, стоя в дверях, разглядывали меня, облаченного в лагерную одежду.

— Вы Н?

— Да, я, а что вам угодно?

— Я привез вам от вашего мужа просьбу...

Трудно передать, как поражены были эти женщины моим ответом. Мы вошли в кухню, в которую вбежал 12-летний мальчик с красным пионерским галстуком на шее.

В коротких словах я рассказал то, о чем просил меня инженер Н. Женщины растерянно плакали, пионер с раскрытым ртом стоял и машинально теребил свой галстук.

На прощанье она предложила мне 10 рублей на дорогу. Отказавшись от денег, я попрощался, сел в лифт, спустился вниз и очутился на улице. Мне нужно было выйти к Курскому вокзалу, и я решил пройтись пешком. Иду. Нагоняю женскую фигуру с огромным чемоданом в руках. Поровнявшись с нею, я услышал бархатный дискант.

— Товарищ, помогите мне поднести чемодан... к Курскому вокзалу... Я очень хорошо вам заплачу...

— Пожалуйста, я к вашим услугам.

Я нес ее чемодан, а она шла рядом со мной и жаловалась:

— Несла его, несла, аж руки оборвала... Хоть бы кто помог мне. А тут и вы подошли. Вот, как я вам благодарна за вашу любезность.

Потом она немного помолчала и опять заговорила:

— Вы, должно быть, тоже приезжий?

— Да, приезжий.

— Издалека?

— Да.

— А именно — откуда? — допытывалась она.

— О, гражданочка, я еду оттуда, откуда вы наверное никогда не будете ехать, — ответил я ей. — Еду с того света... из потустороннего мира, где нет ни добра, ни зла, а одно лишь удовольствие!

— Как, как вы сказали? — пищала она, еле поспевая за моими широкими шагами. — Как это с того света?.. Я вас не понимаю...

— Да вы меня не поймете. Если уже НКВД не могло понять меня, то вы и подавно. Она в недоумении замолчала. Потом, увидя огни вокзала, снова запищала:

— А вот и конец нашей дороги... несите его вон туда, под навес к дверям. Ну, вот... спасибо. Сколько же вам за ваши труды, гражданин?

— Ничего не надо. Вы нуждались в помощи, я помог вам. На деньги это переводить неудобно... Счастливого вам пути! Я раскланивался с ней, а она взмахивала руками и восклицала:

— Впервые в жизни встречаю такого странного человека, как вы... Едете с того света... от денег отказывается, а сам, небось, весь в нужде... Очень интересно было бы с вами познакомиться ближе. Ну, до свидания. И вам счастливого пути. Говорите — на Кавказ? Ну, всего хорошего...

На этом мы и расстались. Было 11 часов ночи. А спустя два часа я уже сидел в Сочинском поезде и ехал на юг, где ждала меня семья, друзья и голубой воздух Кавказских гор.

О родине же я не смел думать.

## «МИНУС СОРОК»

...Мое хождение по мытарствам началось с «товарища Катюши».

Но не с той «Катюши», из которой большевики ракетными бомбами обстреливали отступавших немцев, и не с той «Катюши», которая «выходила на берег крутой и заводила песни про того, которого любила».

Эта Катюша была ответственным работником НКВД, заведывала паспортным столом при городской милиции, вела особый учет «контриков», которым каким-то чудом посчастливилось вырваться из концлагерей НКВД, и была членом городского совета.

Несмотря на полуголодное существование жителей города К., Катюша весила не меньше 100 килограмм. Она носила милицейский мундир, стриглась под «бокс», непрерывно курила дорогие папиросы, сочно ругалась и артистически плевала на измызганный пол, затоптанный еще не совсем сознательными гражданами.

Было очевидно, что наша Катюша прошла суровую школу НКВД и имела солидный стаж по части выстрелов в затылок... Однако, эта профессия не мешала ей практиковаться в успехах «свободной любви», иметь крепкие нервы и смотреть на жизнь с точки зрения марксистской диалектики. Одним словом, товарищ Катюша, как ее называли милиционеры, была на своем месте.

Трудно было сказать, смогла ли бы она, по учению Ленина, управлять государством, но паспортным столом Катюша управляла прекрасно и не один раз доводила до растерянности некоторых «прочих» граждан, нагоняя на них страх.

— Вот это, брат, так Катюша! — осторожно высказывались посетители милиции, прислушиваясь к ее сочной ругани. — Эта уже переплюнет не только через свой стол, она переплюнет даже через самого Сталина... Видишь, сколько у нее под кожей «соцнакопления»! А говорят, в городе есть нечего!

— Тебе, быть может, действительно, нечего есть, а товарища Катюши это недоразумение не касается.

— Васька, объяви ей «встречный план» по «соцнакоплению» и вызови ее на «социалистическое соревнование».

— Ха-ха-ха! Ничего себе было бы «соцсоревнование»!

— Ш-ш! Слышите, как чешет трехэтажным? Надо было бы открыть курсы по усовершенствованию советского мата, а Катюшу пригласить читать там лекции.

Так вот, этой шестипудовой Катюше мне и пришлось представляться. Я кивнул ей головой и достал справку из концентрационного лагеря и временный (на один год) паспорт. Всё это я передал в ее жирные красные руки. Она жевала губами папироску, молча читая мои документы, потом затянулась дымом, глянула на меня косым взглядом и стала снимать копии с них, записывая содержание в большую толстую книгу. Катюша писала, а я стоял перед ее столом и размышлял категориями Карла Маркса: «Если правда, что форма и содержание всегда находятся в конфликте, то в каком конфликте должна быть «форма» нашей Катюши с ее внутренним содержанием»? Я хотел было



продолжить свои размышления, но Катюша неожиданно, по-чекистски, взглянула на меня из-под лба, снова затянулась ароматным дымом и, возвращая мне документы, буркнула:

— Всё, вы свободны!

Выходя на улицу, я оглянулся назад, не «привязала» ли она мне какой-либо «хвост», в виде милиционера, или сексота, но, кроме «несознательных» граждан, никого подозрительного не было видно. Когда я вышел на улицу, то услышал, как Катюша кричала на кого-то:

— Ты мне зубов не заговаривай, а отвечай по сути дела!

«Мытарство первое, слава Богу, кое-как закончилось», — подумал я, пройдя квартал.

Немедленно же я отправился на поиски работы.

Раньше, скажем, во времена НЭП'а, всех неблагонадежных «контриков» ГПУ называло «соцоп»-ами (социально опасный элемент). А позднее их стали называть по-разному. Но сущность осталась неизменной, — это известные «минусы». «Минус пять», «минус десять», «минус двадцать» и т. д. Этот минус мог быть «тайным» или «явным», но без него ни один советский арестант, да еще политический, выходя из лагеря, не мог обойтись. Этой мерой определялась будущая судьба бывшего заключенного, который тащил этот «минус» за собой повсюду, куда бы ни забросила его судьба. И, если обладатель этих минусов не мог найти себе приюта и работы, его в скором времени снова подбирали, давали 35 статью и возвращали назад в лагерь, откуда вторичного освобождения почти не бывало, или случалось очень редко.

Но это уже последнее мытарство, а пока разрешите рассказать вам про одно из мытарств, которое

пришлось пережить двум «минусникам»: «минус 25» и «минус 40».

Была уже весна. Было так тепло, что наши минусники решили избрать ночным приютом кусты городского сада. Утром они выходили из своего убежища и шли на базар, где иногда попадался случайный заработок, или удавалось поживиться куском хлеба. В толпе местных граждан и приезжих колхозников можно было незамеченными повертеться до полудня, а остальное время провести где-нибудь в саду, или на реке за ловлей рыбы.

Но когда прошел слух, что завтра начнутся облавы в городе и окрестностях, наши минусники решили перекочевать из сада на старое городское кладбище, разрушенное революцией и годами коллективизации. Хоть кое-где на нем и сохранились еще кусты старых деревьев и вишняка, но кресты и ограда были почти полностью изломаны или уничтожены, деревянные части были сожжены «счастливыми» гражданами из соседних кварталов. Скот беспрепятственно бродил по нему, как по полю. Мальчишки камнями добивали остатки уцелевших памятников. Только в одном углу кладбища уцелело несколько памятников со склепами, доживающих свои последние часы. Всё, что можно было оттуда унести, было уже унесено. Только в склепах еще стояло несколько металлических гробов, наполненных сухими пожелтевшими костями покойников, похороненных в прошлом столетии. Можно было выбросить оттуда кости и, прикрывшись крышкой, кое-как пробыть там несколько ночей.

Но когда наши минусники поздно вечером спустились в могилу и, при свете спичек, стали подымать крышку первого гроба, внезапно приподнялась крышка другого гроба, блеснул карманный электрический фонарик и выскочил молодой урка лет 25. Наши минусники остолбенели и замерли на месте, волосы на голове зашевели-

лись, мороз пошел по коже. Но страшный «дух» сразу закричал хриплым человеческим голосом, показывая им дуло нагана:

— А ну, фрайеры, латата отсюда, а то со мной шутки плохи!

И бандит, который повидимому тоже укрылся здесь от облавы, навел на них наган.

— Дешевка! — прохрипел он на минусников, когда те стали убираться из склепа. — Шум подымаете, спать мешаете утомленным людям... Вишь, черти полосатые, тоже вздумали на кладбище икру метать. Все места здесь забронированы и свободных мест нету! Поскорей сматывайтесь отсюда, а языки проглотите!

Ночевать пришлось в другом склепе, где никого не было.

— И всё же легче скитаться по этим мавзолеям, чем просить у НКВД работы и покровительства — сказал один минусник.

— Тише! Кто-то идет...

— Ну и что ж?

— А наши минусы? Влепят 35 статью...

— Лучше было бы идти на вокзал...

— Везде облава. По всему «счастливому» СССР... Облава на всех граждан.

И сразу над самой могилой:

— А ну, кто там — выходи, а то будем стрелять!

— Вылазим... Имеем документы из НКВД. Нас двое тут.

— Давай выходи!

Карманные фонарики. Овчарка. Милиция. Энкаведисты. Наганы.

- Пропали...
- Тише!
- Руки вверх!

...В подземелье НКВД, вместе с урками и бандитами, были заключены наши минусники и ждали, когда их позовут на допрос...

## ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Это случилось уже в тысяча девятьсот сорок втором году. Это было в Кавказских горах под Нальчиком, где находился громаднейший концлагерь НКВД. И были в нем заключены тысячи рабочих, крестьян, интеллигенции. Они строили военную дорогу через высокие утесы и глубокие пропасти, а в руслах рек промывали золотоносный песок. Каторжный труд выматывал и изнурял голодных и деморализованных людей до последней степени... Но то были уже не люди, а живые трупы, обмотанные черными тряпками, тяжелой нуждой и безнадежностью... И вывозили их каждое утро за зону и, как какую-то падаль, сбрасывали в яму и присыпали известью... А живых, которые не успели погибнуть, палачи гнали на работу и, подталкивая прикладами и штыками, кричали на них:

— А ну, контра, давай выходи!

— Это тебе не у тещи на блинах, а на строительстве НКВД!

— Дорога и золотой песок!

— Сталинская перековка и высокие проценты выработки!

— Давай-давай!

А которые не могли уже «давать» и измученные падали на работе, тех пристреливали по дороге в лагерь или же привозили в Санчасть, откуда их на следующее утро выбрасывали в «братскую» яму...

Это была каторжная работа имени Сталина. А с запада надвигался фронт и неутешительные вести для большевиков... На плакатах и по радио, в приказах начальства и прорабов — везде только и были слышны неумолимые и жестокие требования:

- Дорога и золотой песок!
- Золотой песок и дорога!
- Давай-давай!

Для начальства НКВД — награды и ордена, а для заключенных мучеников — страдания и смерть от пули энкаведиста или же от истощения на грязных нарах в бараке.

Когда же фронт перевалил через Кубань и в горах загудела немецкая канонада, а на горизонтах Нальчика загорелись величественные и грозные пожарища, НКВД засуетилось и в спешном порядке начало расстреливать несчастных. Почти две тысячи было уничтожено в течение последнего месяца. А потом на лагерь обрушилась страшная весть, что Сталин приказал уничтожить всех заключенных, концлагерь сжечь, а энкаведистам отступать в Грузию. И сразу в лагере потухло электричество, не стало воды, перестали готовить пищу, запретили хождение по лагерю. А еще через два дня разнесся слух, что концлагерь оцеплен войсками НКВД и на следующую ночь начнется расправа. Смерть раскрыла свои крылья, повисла над лагерем и страшной тишиной стала пытаться мучеников...

— Смерть!

Верующие в темных углах бараков стояли на коленях и изливали из своих измученных сердец последние молитвы.

И случилось чудо! И заговорили громаы вокруг Нальчика, и вспыхнули грозными молниями над самым городом и концлагерем, и спустились из-за туч немецкие парашютисты, и принесли мученикам ответ на их мо-

литвы... И был окружен отряд НКВД, и взяли его в плен, и освободили мучеников. А на утро следующего дня был суд над палачами.

Вывели заключенных из лагеря, выстроили их под горой, а потом вывели к ним из лесу связанных семьсот энкаведистов, поставили перед ними и переводчик командовал:

— Смирно!

И сразу наступила жуткая тишина... Полуденное солнце вышло из-за гор и заиграло на листьях деревьев и на черных лицах людей... Природа тоже молчала и казалось, что и она сегодня будет свидетельствовать против красных людоедов, для которых настал последний суд.

Прошли секунды, может быть, минута... Тишина стала еще более напряженной. Казалось, что вот-вот она взорвется страшным громом и сметет с лица земли все человеческие злодеяния, все невыплаканные муки и скорби людей... Но подошел немецкий танк и из него вышел полковник. Он подошел вплотную к заключенным и громко спросил:

— Вы знаете этих людей?

— Знаем! — выкрикнула человеческая масса.

— Это ваши палачи?

— На-а-а-а-а-ши-и-и-и! — еще громче и отчаяннее крикнули мученики и сразу же затихли.

— Переводчик, скажите несчастным, чтобы они — несколько человек вышли вперед и от имени всех вынесли свой приговор.

Вышел старенький священник, перекрестился на небо, набожно и приветливо взглянул на полковника, потом на своих вчерашних палачей, затем поднял кверху свои худые, словно две тонкие палки, руки и последним голосом выкрикнул заключенным:

— Христос Воскресе!

— Христос Воскресе!

— Христос Воскресе!

Последний выкрик зацепился за рыдания и оборвался в горле старика.

Он побледнел, зашатался и упал на землю...

То не море стонало и билось о каменные утесы берега... То не буря ревела в ущельях и пропастях Кавказских гор... То тысячи мучеников ответили своему соузнику-брату:

— Воистину Воскресе!

— Воистину Воскресе!

— Воистину Воскресе!

— Вас ист дас?

— Это их пасхальное приветствие!..

Кто-то громко рыдал и проклинал палачей... Другие счастливо всхлипывали и в радости обнимались друг с другом... Казалось, что море ревело, стонало и билось в сердцах освобожденных узников...

— Смирно!

— Смерть им! — еще выкрикнул кто-то сзади и сам свалился без памяти на землю...

— Начальство посадить на кол, а остальных — расстрелять!

...Знал ли этот полковник о том, что и на его далекой родине существовали подобные же концлагеря, в которых также мучили людей да еще пропускали их через газовые камеры, — неизвестно, но он коротко скомандовал:

— Автоматчики! Выполните приговор!

...Расходились бывшие заключенные с этого проклятого места, получив на пять дней питание. Приветствовали друг друга пасхальным приветствием:



- Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!
- Вы куда направляетесь?
- К семье на Украину... А вы?
- А я — в Орел.
- Ну, до свидания!
- До свидания!

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Там, где кончается религия, начинается большевизм. Пережитые мною испытания в тюрьмах и концлагерях СССР и последующие скитания в годы Второй мировой войны убедили меня в непреложности этого духовного закона. Наш многострадальный век заболел большевизмом только потому, что человеческая личность, потеряв веру в Бога, переживает тяжелую моральную депрессию, от которой ее сможет спасти только учение Христа в его социальной и нравственной сущности.

Нынешнее правительство США уже поняло эту необходимость и принимает соответствующие мероприятия...

Очередь за больной Европой и нашей грызущейся между собою многонациональной эмиграцией.

Лишь учение Христа может дать исстрадавшемуся человечеству желанный мир и спасение от надвигающейся мировой катастрофы.

И Он зовет:

...Приидите все ко Мне,  
Кого гнетет утрата,  
Ко Мне, скорбящие,  
И Я успокою вас.

К. П.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Предисловие .....	5
От автора .....	11
Стихотворение неизвестного заключенного .....	13
Входящий — не грусти .....	15
Панаиди и камера № 7 .....	19
Товарищи по заключению .....	29
Мартын Задека .....	35
Иван Бойко .....	43
Фриц .....	51
Троцкист Брамаренко .....	55
Фельдшерница Цветкова .....	63
Брат Мефистофеля .....	67
Швед и два финна .....	71
Камера этапников .....	75
Давай-давай .....	79
Бунт .....	85
Человек, который моргает .....	93
Рождество в концлагере .....	99
Пасха .....	103
Из Сиблага — в Заполярье .....	109
Двадцать семь и шесть нулей .....	117
Шутцбундовец .....	127
Нищенка .....	131
Новый год в тундре .....	137
Журовский .....	141
Путько .....	145
Новый этап .....	149

Соратники Димитрова .....	155
Так строили социализм .....	159
Архитектор Миллер .....	165
Возмездие .....	169
Пропавшие без вести .....	171
В Краслаг .....	175
Джапаридзе .....	183
Давыдов .....	189
За что? .....	195
Строительство Норильска .....	201
Освобождение .....	215
Минус сорок .....	223
Последний этап .....	229
Послесловие автора .....	236